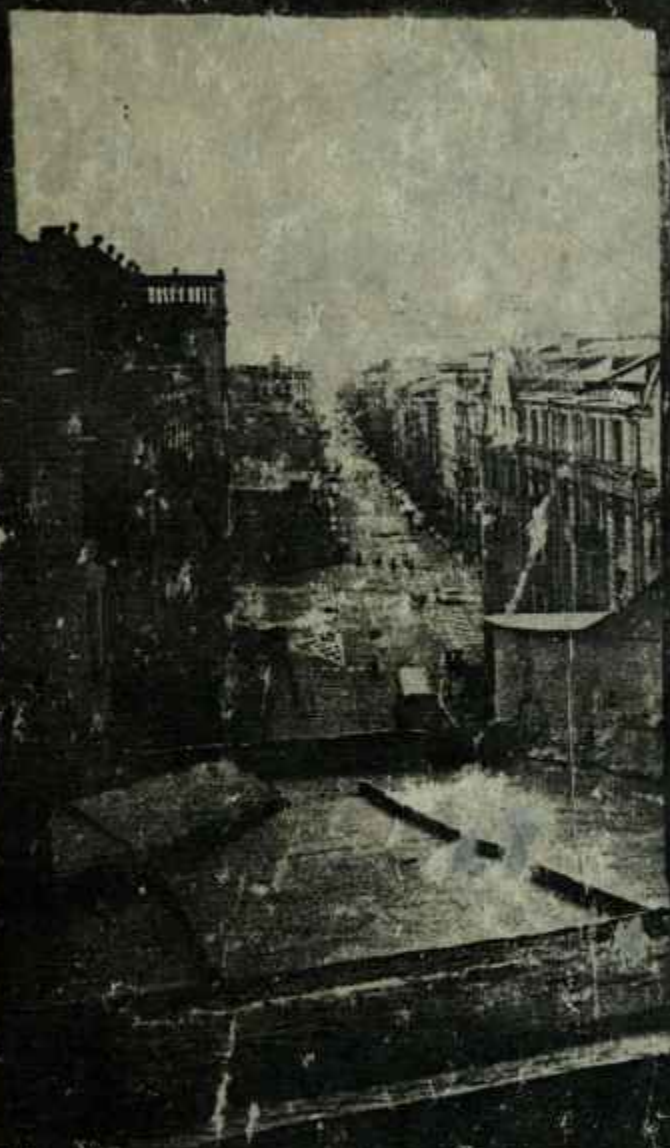




1

С У М Е Р К И

январь - март

СУМЕРКИ

№1
1988

Сумерки - заря, полусвет: на востоке
до восхода солнца, а на за-
паде, по закате;
/вообще/ полусвет, ни свет,
ни тьма;
время, от первого рассвета
до восхода солнца, и от за-
ката до ночи, до угаснутия
последнего солнечного света.

/Владимир Даль. Толковый словарь
живого великорусского языка/

Ленинград

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Может, быть? 3

П О Э З И Я

А.Гурьянов. Посвящается N 7

А.Новаковский. Стихотворения 22

И.Савво. Стихотворения 39

Д.Синочкин. "Очень трудно писать
о поэтах" 56

П Р О З А

Г.Святский. Из жизни Свиридова 66

Г Л А С Н Ы Е И С О Г Л А С Н Ы Е

А.Старцев. "Ты помнишь, как всё было
десять лет назад?" 76

П.Никонов. Никто не хотел сохранять 84

В.Карасев. Библиотека для чтения? 91

У нас в гостях Совет по ЭК 96

Э Т А Ж Е Р К А

Д.Харис. Старуха
/предисловие А.Кейта/ 106

Б.Вахтин. Летчик Тютчев, испытатель 129

"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ СРЕДИ ВЕКОВ" 161

Фото Ю.Ермолова, В.Малева

Обложка: П.Никонов

МОЖЕТ, БЫТЬ?

"С е р е б р я к о в :

— Надо, господа, дело делать!"

А. Чехов

Растут тиражи периодики и очереди у киосков "Союзпечати". У пивточек все чаще бывает пусто: ни пива, ни клиентуры. Такая вот рокировка.

Зачем и кому нужен еще один журнал?

Нам самим — прежде всего.

Все напористее сорокалетние литераторы, подпираемые шустрим молодым. Что остается тридцатилетним? Не всем дано благое умение наживать трудовые мозоли на локтях, складывать рецензии и отзывы в папочку, постигать законы игры, принятые в редакциях и издательствах.

А может быть, то, что мы собираемся предложить читателю, в иной (не-машинописной) форме и не может существовать?

Трудно судить. Это вопрос больной и требует отдельного разговора.

Принцип свободы слова: значит ли это, что каждый гражданин страны может высказаться, или же — что он имеет право быть услышанным?

Не одно и то же.

Многие люди — разного возраста — считают именно свое поколение "потерянным". Мы не исключение.

Тридцатилетние, поколение одиночек.

Застой — это отсутствие движения в плоскости (вперед-назад, вправо — влево). По вертикали (вглубь) продолжалось и продолжается.

Время разводило нас по углам, кочегаркам, религиям. Но оно же заставляло погружаться в себя, вычерпывать ил иллюзий.

Мы хотим быть услышанными.

Но кричать не умеем.

Разница между поколениями определяется еще и этим: способ ухода.

Может, и этот журнал — тоже один из способов?

Может быть.

Жаловаться трудно. Если жизнь чем и была богата, так это вариантами ухода от нее. Можешь подметать или топить, а трое суток через одни — изучать философию; можешь петь мантры или пить водку... Первый виток — уход от чего-то. Не суть важно, что ты делаешь, важно — чего не делаешь.

Но возраст, возраст. Да и момент критический. Вдруг совпало внутреннее состояние с тем, что вокруг (не во всем, но в общем, главном...)

Если не получится быть услышанными сейчас — может быть, никогда. Горят не только рукописи, перегорают люди. Второй, третий виток... Уход в дом, конформизм, цзен... Как-то состояться. Через пассивный протест это ни у кого из нас, кажется, не получается. Фига в кармане права на душевный комфорт не дает.

Есть в машинописных листах некий привкус подпольности. Вот его очень хотелось бы избежать.

Не потому, что страшно.

Хотя — страх из числа важных составляющих, грешно умолчать. Боялись долго, собственно, выросли на этом. "А не посадят?" — естественный фразеологический автоматизм, реакция на все новое, не предикативная единица, а так, для связи слов.

И юридически — полная неясность.

Самиздат — это сколько экземпляров? А лет?

За Солженицына — наверняка, а вот за Галича, Бродского? Замятина? Кто — уже отщепенец, кто — уже нет?

Впрочем, и сейчас многое неясно. Поставим эксперимент на себе.

И еще: страх этот, пожалуй, никогда не был конкретным, прямым. Он прятался в мотивах странных поступков, в навязчивых мыслях, в иронии; разряжался фольклором (заземление через анекдот).

Может, и это издание — своеобразная форма разрядки?

Вопросов куда больше, чем ответов. В полном соответствии с названием. Причины неясны, побудительные мотивы туманны, с целями и задачами не лучше.

Дальняя цель (очень дальняя) — в меру наших сил способствовать, говоря высоким слогом передовиц, демократизации культуры. Конкретно — созданию и развитию сети частных

типографий и кооперативных издательств.

"Самые читающие в мире" — что ж мы так не верим читателю? Боимся дать ему право определять, что хорошо, а что плохо? И голосовать — не мандатом, а карманом.

Но это все нескоро, если вообще.

А может — невысказанное желание раздвинуть рамки внутренней свободы? Сама по себе эта замечательная вещь эстетической ценностью, правда, не обладает. Но зато является обязательным условием.

Ближняя цель: попытка доказать (кому только?), что печать, неподконтрольная Горлиту и СП, может отличаться от официальной не отбором тематики (лагеря, психушки и т.д.), не сенсационностью, не авангардным эпатажем, но уровнем прежде всего.

Это, конечно, нахальство.

Потому что уровень нашей сегодняшней "официальной" печати можно измерять по С.Куняеву и Г.Маркову, а можно — по Булгакову и Платонову.

Впрочем, что ж опасаться соседства — Куняев вещь не опасается...

Преполагаемая программа журнала "Сумерки" в целом консервативна, а вкусы редколлегии, в общем, традиционны.

Кроме стихов и прозы довольно узкого (хочется верить, что временно) круга авторов, близких по духу и лично, будут помещаться критические статьи, театральные обзоры. В планах редакции — разговор о современной живописи, об экологии и архитектуре. В разделе публикаций проблем с материалом пока нет — слишком много накопилось ненапечатанного, даже в "толстых" журналах места на все не хватит. При этом мы рассчитываем соблюдать основной критерий: публиковать те вещи из архива, на которых выросли и сформировались такими, как есть.

И еще раз хочется подчеркнуть: термин "тридцатилетие" относится лишь к инициативной группе, к редколлегии, а вовсе не к составу авторов.

Общую же консервативность направления, о которой сказано выше, следует понимать в добром старом смысле — как терпимость ко всему новому плюс оценка этого нового с точки зрения вечности. Страницы журнала будут открыты и для аван-

гарда, — мы оставляем за собой право на отбор и редакционный комментарий.

Один из главных моментов, от которого во многом зависит дальнейшая судьба издания, — "обратная связь".

Редакция очень рассчитывает на контакт с читателем, а также на приток свежих художественных, публицистических, религиозных, философских материалов.

Мы предполагаем также выпускать сборники авторов, публикуемых в нашем журнале, в виде приложений (в том случае, если это заинтересует читателя).

Телефон для связи: 213-52-08.

Дмитрий Синочкин, Алексей Гурьянов,
Александр Новаковский, Игорь Савво.

ПОЭЗИЯ

Алексей Гурьянов.

ПОСВЯЩАЕТСЯ N
/продолжение традиции 1977 - 1986 /

Торжественное Вступление.

✓

Живи, ребристый многотрудный стих,
Где каждый стык полит обильным потом,
Где каждый слог я перетёр руками,
Где каждый звук-зерно перекрестил.

Ложится в основание храма камень,
Отвес свой ставит Вифлеемский Плотник,
О как сладка вода в Его горсти!

1982.

Я рисовал на улице дома.
А руки воровали апельсины
из ящиков, стоявших на углу
ещё не дорисованного дома.
Я радовался каждому движенью
проворных рук

и вздрагивал невольно.

А продавец, милиционер, прохожие
не знали, что происходящее — реальность,
никто не видел ничего, и каждый
занимался своим делом.

Прохожие спешили,
милиционер стоял,
продавец скучала.

Но

я дорисовал карнизы, окна, крышу,
и всё приобрело законченный
и всем понятный вид.

Продавец сразу закричала,
пытаясь удержать воров.

Милиционер вмешался.

Собралась толпа.

А я

собрал свои карандаши, пастель, резинку,
выбросил их в урну на углу
и вынул из кармана
случайный рыжий апельсин.

1979.

Завиден жребий, что не выпал,
И та цикута, что не выпил,
Мертвит другого мудреца,

И тот узор, что не сложился,
И долгий снег, что не кружился,
Достойны твоего лица,

И камни, что не стали хлебом,
И куст, не вспыхнувший нелепо, —
Тобой не явленная суть

Лежит, как звёзд крутых огарок,
Как холод зимнего пожара,
Как рифма в пальцах на весу...

1979.

З.Н.

Тридцать третьего портвейна
Ленинградский милый вкус.
Ах! Как хочется поверить
Сигаретному дымку.

Ты сидишь на плоском камне,
Жилка бьётся на виске.
Осторожными глотками
Пьёт мой дорогой аскет.

1977.

Л.С.

Ветер. Улетает моя шляпа.
Ветер. Вслед за ней летит мой шарф.
Закружились нищенка и паперть,
Мир в глазах и музыка в ушах.

Прозревая тайное сплетенье
Ветра, утра, музыки и лиц,
Я стою, а шляпа со ступенек
Улетает до... Другой Земли.

1977.

М.Г.

✓

Коломбина ночью пляшет
и смеётся ртом лиловым.
Чёрный лес улыбку ловит
и Пьеро зовёт на царку.
Зажигают ведьмы свечи.
Музыкант в мотив старинный
Влил вина, добавив яду.
А Пьеро на пламя смотрит
и лица не заслоняет.
Лес хохочет, клоун плачет,
Коломбина пляшет, пляшет...

1977.

Монашенке.

Девочка, немножечко вина,
Девочка, немножечко серьёзней
Расскажи мне, в чём твоя вина
Перед миром с воздухом морозным.

В марте холодно последним холоданьем,
Срок отпущен до весеннего утра,
Чтоб разбить чужое извечье
И над черепками поиграть.

Только вместе, и смеяться вместе,
И, не плача, поиграть в слова.
На лице Иисусовой Невесты
Осторожно губы разорвав.

1977.

Ребёнок под крылом у птицы,
А птица под крылом у неба,
А небо под крылом у Бога.
Так не прерваться нити этой,
И Бог сторукий, воплощённый
В жука с блестящими глазами,
Ползёт по рукаву цветному
Той, у которой сын под сердцем.

1979.

✓

Ещё осень.

I

Лениво углубляюсь в лес,
Ловлю губами листья-капли.
По чьей-то прихоти я вкраплен
В сентябрь, летящий по земле. 1979.

2

Осенний букет
из дубовых листьев
на коленях у женщины.

Осенний букет
из двух женских ладоней
в руках у мужчины. 1979.

3

Набиты осенью карманы,
Сентябрь до рифмы низведён.
Густой туман небесной манной
За мной по улице идёт. 1980.

4

Бестолковое золото осени здешней,
Осени зряшной, бесплодной, конечно,
Осени долгой, ни шатвой ни валкой,
С утром ленивым и днём из-под палки.

Бестолковая горечь ночных бормотаний
Там, где с отбитыми лихо крестами
Церковь бежит, к мостовой пригибаясь,
Там, где за небо губами цепляюсь. 1980.

23 января 1981 года.

Достоин участи земной,
Кровопролиться, красноречья
И той беды, что стороной
Не обойдёт и искалечит.

Достоин города вполне,
Холодной ясности фасадов
И века, что окаменел,
Случайно ощутившись рядом.

Достоин музыки чужой,

Рефренов душащих, и смеха
 Меня не выплакавших жён,
 И стран, в какие не уехать.

Линия.

И летит беспокойно
 Над водой колокольня.
 Часовой однорукий —
 Колокольня над Крюковым... 1979.

Здесь лужи горечью полны,
 А улицы друг другом.
 Глаза открой, не поленись
 И оглядись вокруг.

В воде, что плещет у камней,
 Растворена любовь,
 Над ней стоит Апполинер,
 В молчанье щиплет бровь.

Здесь город обречён стоять,
 Река дразнить и течь.
 А ты по строчке яд вдыхать
 И хлюпать в темноте. 1979.

Март.

Снег у "Казани", посыпанный пеплом,
 Малой Конюшенной в запахе хлебном,
 Руки засунув в пустые карманы,
 Ёжась под солнцем, кривым и обманым,
 Я прохожу и ключи подбираю
 К звукам, летящим сырыми дворами. 1979.

Иронические четверостишия.

Суть в том, чтоб думать о другом —
 Об урожаях, о погодах.
 Включённому в людскую гонку
 Отрадней думать о другом.

2

Мурлычет камень под ногой
Напев старинный и прогорклый:
Среди времён пустых и громких
Приличней думать о другом.

3

Гордится заревом огонь,
Гордятся звонкой медью горны,
Гордится окриком погонщик,
А ты подумай о другом... 1981.

Простим друг другу боль и ложь,
Замашки барские,
Поедем в Царское Село,
Поедем в Царское!

Морочат сабля и седло
Коня гусарского,
Поедем в Царское Село,
Поедем в Царское!

Омочим кровью иль вином
Мечи татарские -
Ведь нам с тобою всё равно,
Поедем в Царское!

Сквозь дымный лай, морозный вой,
Брань тарабарскую -
Мы наплевали на конвой -
Поедем в Царское!

Стреляют злобно стороной
Глаза скобарские.
Иди домой, закрой окно,
Поедем в Царское!

1980.

Забили улицу гвоздями
И церковь юную снесли,
А тех, кто тешились груздями,
На правый бой поволокли.

Не варят жёны сбитень пенный,
 Не рвут смородного листа,
 А мужички горят в геенне
 По слову доброго Христа.

Убийцы и прелободеи,
 Не каясь, ходят по земле,
 А выше всех — больные дети
 Сидят на Божием крыле. 1980.

Воздух крепнет — строй, коль хочешь, ✓
 Полухрам-полутирьму,
 По уменью своему.

Лживым профилем восточным
 Соблазнит, собьёт, смутит
 Обитателей квартир.

И накличет — напроочит
 Неизбывную беду.
 Гости поздние придут.

Ты не спи сегодня ночью.
 1980.

Четырнадцатый Год.

Ветер нас ловит поротно ✓
 И отправляет в прорыв.
 Вязкая поступь пехоты
 В небе осенней поры.

В небе, разбросанном чьей-то
 Горестной долгой рукой,
 Птичьи военные флейты
 Нас провожают с тобой.

Втоптаны в небо скупое
 Слава, свобода и честь.
 Пристален, важен, спокоен,
 Ворон сидит на плече.

1982.

ХГатчина/.

✓

Я в город этот ездил вечерами...
Его любил покойный император,
которого мы чтим, и нам легко.

Начищены парадные кирасы...
На завтра на Царицыном лугу
назначен смотр.

В столицу
вместе с солнцем мы войдём
на зависть другим полкам,
самим преображенцам...

Я эту женщину люблю, мой милый,
но дом мой занят, я не знаю кем.
Теперь — нам на войну пора.

Что ж, выпьем
за наше бестолковое богатство — за любовь —,
за нас с тобой и за победу.

Уже светает...

1983.

Зима колченогой припрыжкой
Над городом выцветшим, книжным
На синие прутья нанижет
Свиданья на улицах ближних.

И в этом сплошном ожерелье
Под небом, оклеенным жемчужинами,
Тебя наугад пожалеет
Печальное стихосложение,

Подхватит с надтреснутым жестом
В декабрьское пальцедрожанье,
В кофейное пальцекруженье
И успокоит по-женски.

1979.

Беготня по гранёным кварталам,
 Пережившим беспечную власть,
 Подворотни с намокшими ртами,
 Жёлтый свет без добра и тепла

И нитьё — я в нём радостно волен,
 Не сложилось, пришлось, привелось
 Повторенье — мечтанье, не боле...
 Жёлтый свет за зеркальным стеклом.

1982.

Элегия Четвёртая./После сновторного/.

Как голубь с руки, так и я утолился от боли.
 Не рушится небо, и плоть не бренчит моя больше.

Моя раболепная плоть, ты гордишься неяркой
 обновой,
 Потеряно всё, как же выжить крамольному слову...

Потеряна мера, и сыплется мера за мерой,
 Попросим у Бога забвения, сна или смерти.

1981.

Махни рукой, утешься жестом,
 Пустись в немую череду
 Коротких дней, упрёков женских,
 Огней, рассыпанных по льду.

Витрин морозную слоду
 Минуй, любуясь отраженьем,
 Круженьем и преображеньем
 Дум потаённых, долгих дум...

И средь убогого движенья
 Сквозь полубморочный дым
 Пробьётся праздничное жженье
 Неотразившейся звезды.

Глоток полуночной воды,
 И опьяненье...

1984.

На смерть Ю.В.Андропова.

Флагов полные охапки
Неба лающий развал,
Скинем, братья, спьяну шапки —
Метил шельму и призвал

Тот, кто вспученною грязью
Место грешное обвёл.
Скинем, братья, шапки — праздник,
Звёзд горелых произвол.

Но по шучьему веленью
Марширует царский полк.
— Шапки вон! И на колени!
Задом в небо, лбом об пол! 1984.

На горе, в кольце болот
И в кольце скорбей,
Строил церковь тот народ,
А вселился — бес.

Там тонули, матерясь,
Боговы полки,
Здесь — строгобородый князь
Допивал деньки.

Лапотных отпели враз,
Вознеся хвалу,
И сидели — бес и князь
Всяк в своём углу.

Князь, кривясь, курок нажал
На лихой заре.
Бес вздохнул и побежал
В церковь на горе. 1984.

...взбегает впопыхах
И никнет перед строем
Старинного стиха
Крепчайшего настоя.

Его удел — внимать
Упорно, покаянно,
Пока земля сама
Не пропоёт: "Осанна"...

1984.

Не мир, но меч.
Здесь праздник утра,
Благая изморозь и дым,
Здесь серебра и перламутра,
И в воздух вкрапленной слюды —
Всего довольно.

И как будто
У власть раскованной воды
Гранитом дышит молодым
Твой город.

Экая минута
Тебе наградой за труды!

1983.

Чиркнешь спичкой и сгоришь с ней на ветру.
Здесь темно, и, значит, я живу.
Поклонюсь брезгливому Петру,
Помяну последнюю жену.

Горечь стародавняя во рту.
Ночь и ветер — всё в одну канву.
Небо набирает высоту.
Нас домой уже не позовут.

1981

Г.П.

Мысль,
обрежённую на выражение,
назову

ТЕМОЙ.

Человек,
бороду треплющий, —

МИЗАНТРОП Х.

Листы из папки
рассыпаются

КНИГОЙ,

и

ОСЕНЬ

опять прибывает.

1986.

А.Н.

Здесь протекал канал.

Его я должен помнить,

но, увы...

не помню.

Соседние события

как будто заслонили...

Холодная рука меня ведёт,

взгляд влево вверх,

Фотографический блестящий профиль,

очки, кадык, причёска

из пятидесятих.

Здесь протекал канал.

А я гулял с отцом.

26 февраля 1988 года.

АЛЕКСАНДР НОВАКОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Александр НОВАКОВСКИЙ

. . .

Не эпосом — фрагментами эпохи,
 Рассыпав дни и души растеряв,
 Сметем в строфу оставшиеся крохи
 Своих обид и обретенных прав.

Не цельностью — растерянностью века,
 Случайностью аккордов, слов, ролей,
 Сыграем фарс о жизни человека,
 Надев костюмы голых королей.

Не силою, а немощностью духа
 Наполнив время — времени назло,
 Мы обретаем абсолютность слуха,
 Свободу и права на ремесло.

ИЗ САРАТОВСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

. . .

Ночь примерял: она ползла по швам,
 С сутулых плеч стекая торопливо,
 Прорехи штопать велено словам —
 Прожитых дней истертое белье.

Мне только ими на сквозном веку
 Отогревать холодное жилье,
 Сплетать поэмы в случайную строку
 И, может, жить и, может, быть счастливым.

. . .

Уже давно не вылечить души
 От власти неуютных совпадений,
 Привык терять, и в сердце торгаши
 Оценивают подлинность сомнений,
 Распродают на строчки эти дни
 И хладнокровно празднуют наживу...

Мне неустройство, боже, сохрани,
 В нем умереть и этим быть бы живу.

. . .
Из кельи гола, чуть сутулясь,
Надели в черных капюшонах,
Перебирая четки лней,
Выходят, солнцу удивляясь
И, по траве ступая робко,
Боятся допустить промашку,
Свое нарушить соглашение,
Что им предписывает строго
Блюсти порядок, очередность —
Не то окончится прогулка.
О безнадежное упрямство!
Горит оставленное лето,
Слезы ведут обратно в келью...

. . .
Вам знакомо отвращенье
В отношении к судьбе?
Ночь, декабрь и помещение,
Где в наличии смещение
Всех понятий о себе.
Боже мой, какая малость —
Слово, строчка, голос, смех!
Ничего мне не досталось,
Не осталось, как на грех.
Все исчерпаны лимиты
На добро и красоту.
Карты биты-перевиты,
Биты даже на лету.

. . .
И.В.
Движение звуков — чудное движение:
Трещит сверчок, заманивая эхо,
Во всех углах таятся отраженья
Забытых сплетен, шепота и смеха.
Взгляд остановят запертые двери,
Сольются краски облетевших лет,
Уменьше звуков — восполнять потери,
Напоминать, идти за нами вслед,

Все сохранять изгибы и повторы,
Укоры, жесты... Скрипнет половица,
И вздрогнет ночь — так возникают лица,
Трещит сверчок, мерцают разговоры.

. . .

Чашка чая, сигарета
В свиток скатывают ночь,
Чтобы сонному рассвету
В зимней немочи помочь.

Чашка чая, сигарета,
Пепел снега на дворе,
Снова это, только это
Остается в декабре.

Чашка чая, сигарета,
Писем вяжущая речь...
Кем сегодня ты согрета?
Что сумела уберечь?

Чашка чая, сигарета,
И когда еще апрель...
Не получены ответы,
Не разобрана постель.

. . .

Ах, эта неустроенность! Как долго
Она хранила душу. Первый снег,
За ним — второй, потом застыла Волга,
Стал уязвим усталый мой ночлег.

И с декабрем старели понемногу
Улыбки, лица, стены, потолки,
Перегорали лампочки. Как тогу,
Портьеру примеряли сквозняки.

Пятнистый мрак утаивал недели,
Сутулясь от сугробов и теней.
Деревья онемели, и метели
Чуть проступали в робости огней.

Лиловый месяц — умирание года...
Иду перемен, пытаюсь не грустить,
И хочется врагам своим простить
За то, что сердце лечит непогода.

. . .
О.М.

Присохшее к коже изжитое время,
Крошится табак, да щелкунчик ушел
От гамм простодушных, от каверзных школ,
Где каждое лыко не в строку, так в темя,
От моря, от глаз, от стыда городского,
Вовеки и веки железных степей
И веки потерь — голосок бестолковый:
"Ах, милый дружок, из копытца не пей!"

. . .

Вот ночь прошла. Чуть покраснели веки,
Чуть неуютней, чуть болят виски,
Чуть жить трупнее — осень в человеке,
Когда и воздух бьется на куски,
Как зеркало насмешливого тролля.

В нас залетают вместе с сентябрем
Осколки. И неверия неволя
Мертвит уста. И слов не разберем.

МОЙ ТЕАТР (4 ОТРЫВКА)

I

И по утрам не вычертить сюжета,
Не обозначить контурами путь
Героя и не дать ему ответа,
Как в этой жизни шеи не свернуть.

По вечерам — усталые приметы
Больного дня, намерений благих,
Трамваев полустертые монеты,
Звонящие в ладонях городских,

Развозят ночь. Прорехи переулков
В ослепшие теряются дворы,
Когда герой выходит на прогулку
И царствует до утренней поры.

2

Целую ваши ноги, век разжать
Не смею, ослепленный красотой,
У входа в дом подстилку лежать —
И этого, наверное, не стою.

Целую ваши руки, госпожа,
Почтительно, едва коснувшись пальцев
Дыханием, почти и не дыша,
Но лишь крожа от дерзости. Скитальцев

Не прогоняют, им паут воды,
Порой выносят хлеб заплесневелый...
От слов моих не будет вам беды.
Несмелых уст случайный, неумелый

Не поцелуй — касание луча,
Погашенного тяжестью портьеры.
Ах, ваша власть — зовите палача:
Переступить сословные барьеры

Мне не по чину. Жизнью заплачу —
Пес подзаборный, нищий и ничей.
Не плачь, моя прозрачная, молчу...
И душит чад расплывшихся свечей.

3

Песенка бродяги

Звезды смахнет рассвет
Над городской стеной,
Стану я сир и сец,
Ты не иди за мной

И не смотри вослед:
Не поделюсь виной,
А на исходе лет
Страшно гореть одной.

Неба стоглазый кот
Прыгнул на твой карниз,
Может быть, мой уход —
Царский его каприз.

Это апрель ничей,
Мне он давно срочни,
Оземь — замки ночей
И нараспашку — дни.

Только в твоём доме
Неба стоглазый кот
Ночь бережет тому,
Кто без меня придет.

4

Я жить хотел и только четверь такта
Не подержал на лестнице шальной,
Не доиграв до занавеса акта,
Апрель рассыпал ролью проходной.

На запятой — забытая забота —
Последней строчке голос оборвать...
И браво многоточию! Охота
Отраву дней в слова перевирать.

Нам вени веток пенятся листвою,
Лиловый голубь ворошит траву
И ворожит, кивая головою,
И день прожит и падает в Неву,
Как будто пересыпан нафталином,
С утра он бредит пухом тополиным.

ГОРОД

(Из сборников "Гость осени", "Попытка весны",
"Стихотворения" и др.)

Дождь

Гость осени, случайный яркий луч,
Исчез и растворился в желтой пене
Бегущих листьев; и качнулись тени
Со всех сторон надвинувшихся туч.

• • •

По существу, всё это лишь каприз,
Тень памяти, прохлада теоремы —
Пересечение улиц и карниз,
А дальше — вариации на тему

Измен зимы, где снега суета
Чуть утомит, немного заморочит.
Свою любовь проигрывай с листа —
Бессвязнее, невнятное, короче.

Перетасуй колоду этажей,
Не удержав январь на повороте,
А время слов лишь время платежей
На выдохе, а чаще — на излете.

. . .

✓ Немного лжи — взаимны у вдохновенья,
Терпение пустого кошелька,
Свечение снега, старое уменье
Словами жить. Беда невелика

Три слова разменять на пять снежинок,
Дрожащих на твоём воротнике...
И, уходя, стоять на сквозняке,
Справляя одиночество поминок
По сиротливо тающей строке.

Ноябрь

Месяц к концу — потеплели ладони
Города — шапку снимай и иди,
Осень в груди и почти позаци:
То ли помилует, то ли догонит.

Выронит? Вынычнит... и в декабре
Будем вином запивать непогоду,
Долго смотреть на тяжелую воду
То ли Невы, то ли луж на дворе.

. . .

✓ Смывает дождь с утробой мостовой
Дела и дни, надежды и недели,
Все то, что мы когда-то не сумели,
Сплетает разноцветной бахромой.
Мне все страшнее приходить домой:
Из кожи стен, из бледной акварели
Тепло уходит, только еле-еле
Ночной фонарь качает головой,

И тень скользит отдельно от огня
По стиге недописанного дня.

. . .

Не пей вина, мой добрый господин,
Оно дешевле нашего союза.

Кручина? Полно, стоит ли кручин
Твоих тобой обманутая муза?

Я не сержусь, никто не отберет,
Не опорочит прежнего умения —
Чужих домов прохладное терпенье
(Все кувырком и день наоборот).

Но не стыдись, мой добрый господин,
Зимы, печали, холода и лени:
На потерявших веру карантин
Наложат предпоследние ступени
Последней жизни. Все разрешено,
Когда тебя по времени покину,
Чужие губы, ложь наполовину,
Овал огня, вечернее вино...

. . .

Чашка упала, толкнувшись о руку,
Неосторожно разбив тишину.
Так привыкаем и тянем разлуку,
Заговариваем вину.

Ах, суеты непомерная вялость,
Опурь ненужных потерь!
Переболеем и эту усталость,
Было, поверь.

В доме развал, переезд, суматоха
И одиночество дня.

Как там, друзья, поживает эпоха?
Все у нее, надо думать, неплохо
И без меня.

Лишь календарь так старательно нжет
Льдинки на ниточку тьмы...

Губы чуть тоньше и плечи чуть ниже,
 Прошное ближе и меньше обижен
 Первым дыханьем зимы.

. . .

Я так мало могу обещать и умею так мало,
 Горевать ли о том, что когда-то мне верить устала?
 Кто-то в доме твоём, он твоею печалью томится,
 Вечерами врачуют измены и новые лица.
 Он уходит и кутает горло чуть-чуть виновато,
 Поцелуй у двери — мимолетный, сухой, вороватый.

. . .

Копить долги и множить непогоду,
 Под окнами, с дождями заодно,
 Дворами неслучившегося года
 Нести печали кислое вино.
 Как жить нам дальше? Лихо ли научит?
 Излечит время? Вынесет авось?
 И потихоньку к прописям приручит
 Когда-то небо видевших насквозь.
 Поймем ошибки, извлечем уроки,
 Доверимся знакомым и врачам...
 Вот только ненаписанные строки
 До смерти будут мучить по ночам.

. . .

На обороте летней ночи,
 Там, где оставлена строка
 Для недомолвок, многоточий,
 И тень минувшего легка,
 Где время, разжимая пальцы,
 Бессильно выпускает кнут,
 Мы не рабы, не постояльцы
 Судьбой отмеренных минут.
 Быстрее годы, дни короче
 И крепче царство дурака...
 На обороте летней ночи
 Для нас оставлена строка.

У

Поэт

Себе пророчит и себя морочит,
Примеривает жизнь какую хочет
И напоследок проживает дни
Заранее написанным — сродни.

И каждый жест, доверенный бумаге,
Лишь неизбежность и уже итог.
Марионетка страха и отваги,
Привязанная ниточками строк.

. . .

Потешим душу старыми словами,
Умением, уже почти забытым,
Но так ценимым некогда. Увы,
Все то, что прежде нас спасало с вами,
Еще мерцает контуром размытым,
Отрывком полусозданной главы

Какого-то прекрасного романа,
Где героиня, герцог и герой
Так куртуазны, но смертельна рана,
И не спастись ни лестью, ни интригой.
Уходит время, и ночной порой
Мы вспоминаем прошлое за книгой
О том, что все является игрой.

И умираем от того, что больше
Не можем говорить о самом главном.

Считалочка

Что о собаками по-волчьи,
Что с волками по-собачьи:
Волчья выволочка молча
Да собачьи неудачи.

Что прощения у Бога,
Что у ближнего пощады:
Бог на это смотрит строго,
Ну а ближнего не надо.

Что в любви искать утех,
Что предстывать словами:

Там досталось на орехи,
Здесь качают головами.

Что смеяться, что заплакать,
Что терпеть, что закричать,
Что месить ногами слякоть,
Что сначала все начать.

Что с собаками и т.д.

. . .

✓ Привитое становится привычным —
"Привычка свыше", и обычен путь.
С окольного уйти бы, да с поличным
Поймают. Не Раскольников — рискнуть.

Порочен круг предательства былого:
За поручни порук, в жилетку лжи
Наплачешься. Ни замысла, ни слова,
Хоть каждый день на звуки разложи.

. . .

Настали дни учиться по слогам,
Шагам и жестам назначая цену,
Дверь отворить, и душу пополам —
В истерику, за шиворот, — на сцену.

По черным строчкам окон, в запятых
Карнизов, труб запутаться, ни слова
Не прочитав в решетках завитых
Парадных лестниц города слепого.

Вернуться вновь и застегнуть крючок
Квартиры душной, подмести недели...
Тревожный день — случайный пяточок —
Упал на пол и звякнул еле-еле.

. . .

и.с.

Несложен день, когда движение ложно.
Играй с листа, покорный ученик
Пути прямого, истин непреложных,
Чужой водой наполненный родник.

Так безнадежно и неосторожно
Тебя зовет оставленный двойник,
Последний рыцарь целей невозможных.

Последний воин к стремени приник,

Подняв забрало и отбросив щит,
 В последний бой бросается отважно.
 Один на крыльях мельницы бумажной
 Над одуревшим городом парит.
 Дурак хохочет, дура голосит...
 Не важно это — ничего не важно.

. . .

Черновиком, изнанкою наружу
 В себя войти, себе же вопреки...
 Я промолчу, но слова не нарушу
 Упреком, проком, прочностью строки
 Натужной и надежной. Или струшу
 И разобью стихи на пятаки.
 Так солнца луч испытывает лужу
 В уменье лжи. Какие пустяки
 Приобретают непреложность знаний,
 Истертых и подштопанных на день:
 Тень на плетень, убожество исканий,
 Сомнений сумрак, звуков пребедець.

. . .

Выключателей щелканье, щели рассветов,
 Чемоцаны любовей, разлук и прог —
 Все не в срок: ни пути, ни плацкартных билетов,
 Лишь вокзал фиолетов, да несколько строк
 О глазах и словах, переулках и лицах,
 Сумасшествии лестниц, дверей, голосов,
 О судьбе и судье, журавлях и синицах —
 На губах и руках миражи катастроф.
 По ладони скользят завитушки глагола,
 Облетают к зиме, осыпается речь.
 У чужого огня, у чужого престола,
 В новостройках души чью-то память стеречь,
 Что-то путать и рвать, вырываться у века,
 Не рассчитывать сил и не верить богам...
 Удержи в кулаке, если сможешь, калека,
 Неустроенность душ, недоигранность гамм.

• • •

Игорю Савво

Мы опоздали с выходом, должно быть:
Зал опустел и погасили свет.

И.Савво

И все тетради лишь наполовину
Исписаны, затем, что, к сожаленью,
Не одолели большего ни разу.
Так захлебнулись помыслы благие
В мечтательном ленивом размышленье
О смысле и возможности уйти,
Сменить одежду, кожу, время года,
Способность быть, осознавая меру
И паузы выдерживая.

Дальше

Все шло, как прежде,
Так же, только хуже,
Поскольку проходили дни и годы
И осень от весны не отличалась...
И все же мы немного погодим
На грани века и тысячелетья:
От суеты, семейных неурядиц
И бед отчизны рано отрекаться.
И хоть наполовину, но расскажем
То, что сказать мы раньше не умели.

• • •

Немного больше суеты,
Немного больше нетерпенья,
И снова белые листы,
Как листья, просят снисхожденья
В осенней злости. И опять
Заговорить ненастье надо
И дрожь ветвей и рук унять -
Беду и ужас листопада.

Памяти Б.Вахтина

И, может быть, сторож ночной
 Не лечит души от недуга,
 Игрушка, фигляр заводной,
 Под гримом — гримаса испуга.

Исхлестанный тысячь звезд
 Иль злобной измученный вьюгой,
 Он робко обходит свой пост
 По кругу и снова по кругу,

По снегу, по старым следам —
 Там нет ни собак, ни прохожих —
 Он шепчет чуть слышно: "Предам, —
 И солнце подняться не сможет."

Он шепчет: "Столетье не срок,
 Я выдержу больше, быть может."
 Бредет и бормочет пророк:
 Не сменит никто, не поможет.

Сквозь ложь лихолетий и бед,
 Жестокие игры планеты
 Его незатейливый бред —
 Последняя наша монета.

Прогулка по Васильевскому

На лестнице — остатки витражей,
 Пологие, истертые ступени,
 Подвальный запах первых этажей;
 Камин и лифт, царапины и тени.

Двор руки разбросал по сторонам:
 Двух линий и проспекта совпадение;
 Давно оштукатуренным стенам
 Осточертело наше поведение.

Осенний день и хлопанье дверей,
 Остаток жизни, ожиданье снега,
 Приветствия прищворных фонарей,
 Притворные, как поиски ночлега.

Удержит остров? Вылечит Нева?
 Налево крепость, а напротив площадь —

Нерасторжими, словно пважды два,
И кажется, что раньше было проще
Вставать в каре свободу постеречь,
Восторгом защищаясь от мороза.
Слова, объятья, оумерки, картечь:
"Сто прапорщиков" — детская угроза.

Глощает город новых дураков,
Чуть подпуская крови и тумана,
Конь на скале, подковы из оков —
Змее не дотянуться до тирана.

Река течет, запутавшись в веках,
Как плетью, разрисована огнями.
Покорно время в каменных руках
Меж пальцами непрожитыми днями
Уходит, чуть помедлив на углах.

Прецедент

Нас тоже когда-то любили. Возможно,
И мы задышали от радости или
Беседы плели, как стихи, осторожно,
Изисканно, нежно, вполголоса. Были
И ночи, конечно, где нега и трепет,
И даже наутро летели к вершинам
Духовно-греховным. О сладостный лепет!
Мы им упивались, хотя и не Грином.

Бездонны глаза, и по линиям тела,
Где мгла растворяла мерцавшие свечи,
Лились, как слова, разрывая пределы
Доступного разуму, страсти. И речи

О страсти являлись для страсти и в страсти
Лишь пламенем, страсть разжигавшим повторно.
Все было. И было, клянусь, непритворно.
Местами менялись с богами, но власти

Богов не имели при этом,
Поэтому время, увы, протекало
И что-то меняло,
И мы расходились по разным планетам.

И новые линии собственной жизни
 Сплетали с чужими, где те же беседы
 Фальшивыми стали. И, словно на тризне
 Души, мы тузили, предчувствуя беды.

. . .

Качает черт качели...

Ф.Сологуб

Все как будто на самом деле:
 Пишем, любим, ведем разговор...
 Черт, когда-то качавший качели,
 Чуть сутулясь, идет через двор,
 Лист опавший сжимает в ладони —
 Жизнь прошла на чужих этажах —
 Рыцарь мрака, маэстро агоний,
 Измеряющий боль в падежах,
 Он устал, он смертельно спокоен,
 Что ему до чужого добра,
 Равнодушен заслуженный воин...
 Ну а нам не дожить до утра,
 Ну а нам ни дыханья, ни крова,
 Стылых лет ежедневная боль!
 И чего там наплел Иегова —
 Хоть невольников ты не неволь.
 Нам осталось в последние годы
 Непрожитые строфы вплести,
 Козырей из крапленой колоды
 И дыханья крапленой свободы
 Так немного, Господь нас прости.

1967

1978-1987

ИГОРЬ САВВО

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из всех судеб — я выбрал бы свою —
 Дорожную, хмельную, ветряную,
 Пропойную, — как танец на краю,
 Где ветром вечность волосы волнует.

И ветер в дом, и листья на стекло,
 И гости следом — долог будет праздник! —
 Скорей бы наше время протекло
 Среди речей — бессмысленных и праздных.

Из всех — одна поэзия права.
 Гулящая, юродивая — петь ей
 Под погремушку, путая слова,
 Которыми уже тысячелетия

Болеет мир. — Хмельная голова,
 Бросай созвездья полными горстями,
 Чтоб и на камне выросла трава.
 Хотя и запоздавшими гостями

Явились мы, отпразднуем теперь
 Веселый мир без крова и ночлега,
 Дом без тепла, распахнутую дверь,
 Вселенную над тушею ковчега.

Из всех дорог я выбрал бы одну —
 Невесть куда везущую... В последний
 Раз оглядеться в маленькой передней
 И — дай нам бог счастливую луну.

. . .

Вознеси на ветвях до нестройного птичьего свиста,
 До зеленых побегов и листьев новорожденных.
 Время первым дождем рассыпать жестяные монеты
 И холодным туманам висеть на ветвях обнаженных.

У промокших деревьев на полузаросших аллеях
 Лица древних богов проступают под черной корой.
 Этой нищей зимой, этой бедностью переболею,
 Вознеси на ветвях, пробудившимся небом укрой.

Время первым дождям начинать пробуждение от снега,
Долгой спячки души, заблудившейся в долгой зиме, —
Это ветер и дождь, и азарт молодого побега,
Горький лиственный сок, ненадежная радость измен.
С одичалой весной, избавлением от тесного дома,
Оживлением крови, горячей усталостью век, —
Вознеси на ветвях — до последнего их перелома
На промокших ветвях, отпустивших на волю побег.

. . .

✓ Такая слабость: жить наперечет
Дождям и дням, и листьям облетевшим,
В пол-обнаженья крови, в перелет
Осенних птиц над парком опустевшим.

Такая прихоть: нечет или чет? —
Куда поднимут такие крылья? —
Так этот воск полуденный течет,
Как будто вены в воздухе открыли.

Такое время: двери запереть,
Через окно в ночную непогоду
Перешагнуть — и дождь с лица стереть:
Ты выбрался. Ищи свою свободу.

. . .

Грозой, приникшей к озеру, молюсь —
Дожди идут за временем, и снова —
За временем — дожди, чтоб слово в слово
Переиграть наш гордый союз.

Твое лицо, размытое стеклом,
Дождем в стекло — глаза твои смывает,
Как будто в переполненном трамвае
Тебя уносит время под уклон.

Но после нас — хотя бы и дожди, —
Наморщив лужи, листья обрывая... —
—... Вот если только из окна трамвая
Еще успеешь крикнуть —

Поцелуй!..

. . .

Бумажный враль, незванный гость,
Мне жить легко — я слаб душою,
В игре со ставкою цешевой
Я бросил выигрышную кость.

Что было здесь, что будет там —
Перед собой одним в ответе,
Не в первый раз живем на вете! —
И проиграю — не отдам.

Пока душа еще цела,
И пуст карман, и праздник винный
Несет безудержной лавиной —
Какие могут быть дела!

...Как будто проба на излом,
Что будет дальше — кто ж расскажет,
Когда усталость губы свяжет,
И разлучит, и поделом...

. . .

Мы будем жизнь свою жалеть
За то, что вышла так неловко,
За то, что с каждою уловкой
И больше жжет, и жалит злей.

На всех не хватит правоты —
Кому-то быть и виноватым,
А в утешение горбатым
У нас погосты и кресты.

И если жизнь не оборвет,
Покайся, что не складно вышло,
Что кто больнее — тот и выше,
А нужно б все наоборот.

Как скоро — долгий снегопад,
Как скоро нас зима настигла,
Ее врачующие иглы,
Ее метели невпопад...

. . .
 Так тиха, что слышен снег,
 Полночь, сердца перебои,
 Так тиха, что как во сне,
 Как во сне живем с тобою.

По подсказке ужин барский,
 Ночь, копилка — все старо.
 В глухомани, на Пушкарской
 На гроши живем по-царски —
 Только снег со всех сторон.

Наобум и назубок
 Повторяй свиданья наши:
 Ночь, копилка, — как монашек
 Нам гнусавит водосток.

Так тиха, что слышно, как
 Слабо звякнет у порога
 Мой единственный пятак
 На обратную дорогу, —

Что ни делает дурак —
 Все не так. И слава богу.

. . .
 Девятнадцатый век. — Как мы любим застольное братство.
 Петербургский гранит утопает по горло в воде.
 Эта нежная кожа! Как жжет золотое убранство! —
 Быть беде, Петербург. Закатиться туманной звезде.

Жить на свете легко, закружась на дворцовом паркете,
 А на завтра — свобода и мир, только пунша налей;
 Жить на свете легко, мы свободу поделим, как дети —
 За бокалом вина возводить и сбергать королей.

Всероссийская цурь, наделимое наше богатство! —
 Не заморским крестом богоносца на подвиг крестить,
 Не салонная речь — как бедна она для святотатства,
 Не французским вином леценелый бульжник кропить.

Недостроен собор, недописана пышная ода,
 Только трубку набить — а на завтра свободу встречать.
 Петербургская блажь, неокрепшая прихоть — свобода... —
 От застолья — поц петлю: не сдернуть и не оборвать.

Бог ли глянул в лицо? — Воровство на французской закваске.
Кровь ли бредит от боли — с утра, на Сенатской, в каре, —
Жить на свете легко — если верится в детские сказки,
И — свободу встречать на морозной декабрьской заре...

. . .

Собеседник деревьев, чернец проходного двора,
Приучилась ли дупка свистеть в городских переулках?
Монастырской медью в твоих одиноких прогулках
Перецёрнутой картой закончится эта игра.

Из прожилок и трещин, и скатов с желтеющей цвелью,
Из дощатых настилов и красных аллей в октябре, —
Вырастает твой город нетвердой пастушьей свирелью
Улетающих птиц собирать на осенней заре.

На вселенском подворье немного окажется места. —
Недостаточно петь, чтобы жить, — или жить, чтобы петь? —
Проходные дворы, переулки, прожилки, и вместо
Запредельных степеней — монастырская гулкая медь.

. . .

Время: старость. Все медленней стрелки часов,
Все длинее секунды и глуше напев окарины.
На сосновом ветру нарисован твой профиль старинный.
Время: окна завесить и двери закрыть на засов.

Для себя я ни слова не выдумал, только когда
Говорил, что потеряно все, что могло бы случиться —
Этот профиль старинный, пролитая в воздух вода, —
Кто-то в окна мои или двери теперь постучится.

Перелетное лето уносит разбуженных птиц,
На сосновом ветру проливается небом белесым,
Время: дождь проливной по некошеным мокрым откосам, —
Все медлительней стрелки, туманнее всплески зарниц.

Уверяю себя, что ни разу мне не было больно,
Только время: вернуться и двери закрыть на засов.
Я надеялся выжить — и этого было довольно,
Вот и время проходит: все медленней стрелки часов.

Из ранних стихотворений

Стихи сбываются, как оны,
Где нами движет кто-то третий
В неразберихе лиц, столетий —
Жизнь от весны и до весны,
Судьба, причудливей соцветий; —
Они беспомощны, как дети,
И как дыхание, ясны.

. . .

Люблю, что прожито. Что раз и навсегда
Окончилось — и в памяти осталось
Как сладкая истома, как усталость,
Как то, что не случится никогда.

Блаженство полусна-полуигры,
Сюда, под эти царственные кровли,
Где темною, медлительною кровью
Чужих эпох наполнены цоры,

Сюда, сюда, в предутренний покой —
Где волшебство в соломенной корзине
И подворотню темную разинет
Старинный дом над серою рекой, —

Когда-то это было наяву, —
Я позабыл. Что в самом деле было
Что выдумка, — все сгладилося, остыло,
И имени уже не назову.

И то пройдет, и это все пройдет,
Окончится — и новое начнется,
Быть может так: фонарь легко качнется,
И красный лист на землю упадет.

СУМАСШЕДШИЙ

I

В веселый праздник, в день сороковой
Отпущены — за сцепленные пальцы,
За звездный круг над черною травой, —
Недолгого ночлега постояльцы,
Недолог будет праздник царовой.

Кто без греха — тот во сто крат виновней.
Пока еще не найденный в грязи
С любовью своей — с виной, сыновней, —
Я буду лгать и плакать, и грозить,
Чтоб только — ложь, и память, и вино в ней.

— И не растратить, и не отобрать, —
На недомолвках не видать удачи,
На прекословье не нажить добра, —
Никто о нас не вспомнит в день раздачи
И из толпы не выкликнет: пора.

Пора обжиться в этом междоречье, —
Между речами, треском помино, —
Пусть не перечить, только уберечься, —
Я говорю: темно, темно, темно, —
Как в этой темноте я бога встречу?

В сороковой, отставленный от дел
День наших душ и бражного броженья,
Сквозь копоть, пыль, густой оконный мел. —
Я выпустил на волю отраженья,
Я видел мир таким, каким хотел.

2

Я видел мир таким, каким хотел.
Еще кто может этим похвалиться?
Сорвавшись ввысь, в расколотый предел,
Моя душа распластана, как птица,
И в этой жизни слишком не у дел.

Я проживу подачкой и пощадой —
 На площади, в ночлежке, всем навло, —
 Край непочатый нищеты площадной. —
 Кто ж виноват, что мне не повезло
 И, как слепцу, — прощенья не надо.

Я проживу над этой толкотней,
 Над этим толкованьем и раздором,
 Пока мне кровь не затопила поры,
 Когда — не голубиной воркотней —
 Ворвется жизнь в наш сумасшедший город.

Тогда я посмеюсь на их испуг!
 Меня запрут — я выберусь сквозь щели,
 Я отраженья выпущу за круг,
 И за сетчаткой окон все метели,
 Как птицы — будут воду пить из рук.

...И я укроюсь в стае их белесой,
 И со свечою встречу Рождество,
 Один — как в день творенья, — безголосый,
 Увижу мир таким, каким его —
 Никто и никогда — за этим плесом...

3

Я видел мир таким, каким его —
 Никто и никогда, — за этим плесом,
 Там, за рекой, за жизнью, за канвой
 Повествованья. Благо безголосым

Носить в себе великодушный цар
 Общенья с мелодией немой, —
 Как будто скрипка спрятана в футляр,
 Живет не звуком — музыкой самой.

Я видел мир таким, каким он был,
 Забыв свое звучание, забывшись
 Безмолвием, — не зная ни судьбы,
 Ни времени, что следует за бывшим —

Все наше время, время до конца,
До остановки стрелок, и не с нами
Петь ангелам, младенцам и птенцам,
Кто, как и Бог, о времени не знает.

За то и был обещан нам покой —
Там, за рекой, за ровным этим плесом,
За этой жизнью. — Благо безголосым:
Мы не у дел — у Бога под рукой.

4

Мы не у дел — у Бога под рукой,
С пернатым пеплом смешанная глина, —
За то и был обещан нам покой
Длиною в жизнь: блаженная долина
За ровным этим плесом, за рекой.

Я проживу и коркой, и копейкой,
И отраженьем в треснувшем стекле,
И за сетчаткой окон — в этой клейкой
Забывшей миром комнате. Скелет
Давным-давно подошедшей канарейки.

Еще имеет с музыкою связь,
Мир не потеряя, если горстка пепла,
Всего лишь глина, слипшаяся грязь
Осталась от него, и не ослепла
Душа, расстаться с Богом не боясь.

Бог помнит обо мне. Помимо мысли,
В решетку, щель, связующий союз,
Посторонившись звука, камня, смысла,
Минуя слово — с Богом объяснюсь.
Душа, как птица, в воздухе повисла, —

Не знает слов моя прямая речь,
И дальше — не узнает, не озлобит,
Не выдаст, — только б душу убересть,
И на таком ветру, в таком ознобе —
Поближе к солнцу: память пережечь.

Бог помнит обо мне. Не так уж плохо,
 Когда покорен, но не покорен, —
 Старухи в черном, заросли, эпоха, —
 И столько водки после похорон,
 Что неоткуда даже ждать подвоха.

Я лампу подниму над головой,
 Я погляжу, как этот свод распорот
 Сиянием над черною травой, —
 Пока мне кровь не затопила поры
 В веселый праздник, в день сороковой.

5

...Глотнем вина, утремся рукавом.
 Для ловли блох отмеранное время
 Вернется к нам все в той же цирковой
 Неразберихе, в том же измеренье, —
 Но нас не будет в день сороковой.

И что бы это значило? Удачи
 Мне не видать, земель не открывать. —
 Блох изловить, о ближних посудачить,
 Глотнуть вина, забившись под кровать, —
 Не опьянеть, а только одурачить,

А только подурачиться. Скуем
 И этот хлеб. Господь нас не осудит
 За то, что как зеницу бережем
 Святую воду в водочной посуде —
 Мы с нашим Богом запросто живем.

Довольно, чтоб пройти без происшествий
 Недолгий мир.

... Пока я им дышу,
 Пока могу припомнить день прошедший...

Когда-нибудь я повесть напишу
 С классическим названием
 СУМАСШЕДШИЙ.

А.Новаковскому

I

...И чья вина, что так нескладно вышло,
и что фальшивит ящик музыкальный,
разыгрывая по давно забытым
истертым нотам прожитую жизнь.

Чужая жизнь со старых фотографий
вдруг показалась памятью — со всей
своею чертовней, неразберихой,
крамольным вихрем предвоенных лет. —

Шампанской кровью с холода вселенной,
непостоянной карточной судьбой —
подталкивает сердце, и ночами
чужие сны реальнее стократ
и явственней, и глубже нашей жизни.

И как же в них запутаться недолго!
Того гляди забудешь — где ты? кто ты?
Как будто мир прокручен вхолостую, —
не задержал, ни краем не коснулся.

Должно быть — вышло время умирать —
В каком-нибудь расхристанном столетье,
в какое-нибудь пасмурное время, —
хотя бы смертью привязать себя —
пускай не к датам, пусть к эпохе только...

2

...А что там было — черт их разберет, —
и кто был прав, и кто кого морочил.

Быть может, просто — время умирать —
в наивной вере, что благополучно
на свете все, помимо нас самих.

На свете все, помимо нас самих
случается, однако ж уцелели
и выжили, — быть может, чуть с душком,

с задержанною совестью — но это
не столько больно, сколько утешает.

Мы будем жить — на радость общим женам,
во все лопатки, кто во что горазд, —
столоверченье, сумерки, похмелье, —
пусть нам расскажут, что случится с нами,
что ничего-то с нами не случится,
пусть все идет — помимо нас самих.

Пусть мир спасет Кондратий Селиванов, —
пусть кто угодно этот мир спасает, —
пусть мы еще немного погрешим,
живя на свете с видом на столетье,
на все его пожары и базары,
дурные игры, мутные похмелья, —
черт знает, что случилось с нашей жизнью! —
не прикоснуться и не отогнать.

Так захвати еще вина побольше
и заводи свой музыкальный ящик,
а кто там прав и кто кого морочит,
что там творится — черт их разберет.

3

Быть может, просто — время умирать
давно прошло, а мы недоглядели.
Так эта жизнь — до головокруженья
нас довела своею свистопляской.

В наследство — да какое там наследство! —
одни долги да пачка фотографий,
да связка писем — только и всего.
Мы этим жили — этого хватало.

Имений не проигрывали, но
и не приобретали. Денег тоже.
Вот — музыкальный ящик, безделушки,
в наивный плюш затянутые кресла,

портреты и резные этажерки,
стихи в тетрадях, глупые журналы,
собрание скучных сплетен друг о друге —
одно и то же: где-то, с кем-то, как-то... —
Все в память благодарному потомству.
Мы с этим жили — этого хватало.

И незаметно, как-то между прочим,
мы постарели вместе с нашим веком, —
мы очень долго жили вместе с ним. —
Мы жили вместе — этого хватало.

Быть может, просто — время умирать,
освобождать пространство от постоя, —
не время — время пусть еще потерпит.
...И как итог — черта под пустотой.

4

...И как итог — черта под пустотой.
Мы слишком долго жили по привычке,
тянулись вслед за чем-нибудь — не все ли
равно за чем? — уверенные в том, что
под занавес умрем мы, как и должно,
чтоб чуть попозже выйти на подмостки,
собрать цветы и развести руками,
раскланиваясь лолам и партеру.

Мы опоздали с выходом, должно быть:
зал опустел и погасили свет.

Мы слишком долго жили по старинке:
любовью старой, старыми друзьями
и старыми словами — обо всем.
Однако, жили — этого хватало.

Как наши биографии случайны!
Случайней жизни, что была дана,
разыграна, как карта — наудачу,
и вся игра зависит от болвана.

На все лады мы радовались жизни —
такой цветной и широкоформатной,
такой нестрашной на киноэкране;
на все лады наш ящик музыкальный
поцогрывал нехитрому сюжету,
чужие страсти тратил без оглядки.

И как итог — черта под пустотой.
Одно теперь досталось в утешенье:
когда-нибудь мы будем жить еще раз, —
уже другими, лучшими, бог даст...

5

Когда-нибудь мы будем жить еще раз,
и — лучшими. Иначе все, что было
помимо нас — уже не возвратится, —
когда не примет будущая кровь
неведомую память нашей крови.

Пусть намр расскажут, что случилось с нами,
пускай нам совесть нашу перескажут,
чтоб мы могли хоть как-то привязать
себя — пускай хоть совестью — к эпохе.

Пусть дальше врет наш ящик музыкальный.
Предчувствие беды не оправданье
для суженных зрачков, для слепоты,
для пустоты и мира понаслышке.
Пусть дальше врет — теперь уже не страшно,
теперь не то: другие времена. —
И можно вспоминать, не опасаясь,
что это — как комок подкатит к горлу,
что заболит кровь неразберихой,
крамольным вихрем предвоенных лет.

Так захвати еще вина побольше
и заводи свой ящик музыкальный:
мы будем живы. К этому идет.

• i •

Жить бы, как и жил — без новоселий,
В серо-желтом зиму зимовать...
Как-то мы не вовремя присели
На чужом похмелье пировать. —

Это наша юность, наше детство
По подъездам мельчью бренчит,
Это ленинградские подъезды
С застарелым запахом мочи.

Это не отпустит, не оставит,
Не отдаст и лучшим временам, —
Разномастной мебелью обставит,
Карточки развесит по стенам.

Это кровь коломенской закваски
Коммунальным временем шумит, —
Как "Виноторговля братьев Шмидт" —
Все-таки жива под слоем краски.

2

Диабаз, Гороховая, грохот, —
Хоть сейчас прислушайся: живет... —
Маленькая пыльная Эпоха
Каждый день по имени зовет.

Запинаясь на "и иже с ними...",
Мелочью разбивки речевой
Каждый день свое уносит имя
Сохранить — Бог знает, для чего.

Диабаз, Гороховая, грохот,
Ритм сердечный, тянущий на сбой, —
По камням рассыпанным горохом,
Кое-как случившейся судьбой.

Своего — ни дома, и ни хлеба,
Ничего, что стоило б беречь, —
Праздником и шумом похвalebным
Скрадывает косвенную речь.

И собрав по камешкам, по крохам, —
Может, хоть немного повезет? —
Диабаз. Гороховая, грохот,
Что еще? пожалуй, что и все...

"Мы так и не научились открыто и беззащитно спать на спине — все как будто прячем что-то очень важное..."

Из частного письма

Очень трудно писать о поэтах, если знаешь их давно и близко. Не менее трудно — о стихах, строчки которых уже стали не фактом искусства, а фактом биографии.

Оценочный подход (хорошо — плохо) невозможен.

Литературоведческий, требующий отстраненного восприятия, — тоже.

Время написания историко-литературных биографий еще не пришло, да и придет ли?

Вот и остается на мою долю лишь "взгляд и нечто" — жанр, неоднократно скомпроментированный, но, пожалуй, единственно возможный.

х х х

У каждого времени свои поэты. Но не каждое поколение их знает. (Банальная истина, оттого, что она банальна, истиной быть не перестает, правда?).

Впрочем, так было всегда.

Усредненное мышление, узаконенная идеология предполагают образование социальной элиты. Причем, конечно, не по материальному признаку, а по степени допуска к информации. Существование социальной элиты уравнивается интеллектуальной оппозицией. Обычно у нее нет формы, структуры, ощутимо только само наличие.

Творческая энергия выплескивается в формах, регламентации не подлежащих: авторская песня, живопись авангарца, поэзия без читателя. (Впрочем, неточно. У этой поэзии нет читателей, но есть Читатель. Каждый. Случайный или нет...) Подключение к официальным каналам изменяет все, но в первую очередь восприятие.

Писать "в стол", для себя, или — что почти то же самое — для узкого круга — противоестественно и противоречит сущности творчества.

Нет смысла рассуждать здесь о причинах, как и о том, хорошо это или плохо. "Такой уговор..."

Отсутствие выхода к читателю приходится принять как особенность, многое определяющую в поэзии, о которой пойдет

речь. Свобода самовыражения вполне уравнивается изначально заданной ущербностью поэтического сознания.

Впрочем, так же, в машинописи, приходили к нам Пастернак и Ахматова, Мандельштам и Бродский. (Трудоемкость формы существования диктует жесткие критерии отбора!)

Сначала эти "слепые" экземпляры были сигналом социальным по преимуществу. Потом пришло понимание: это такая поэзия. Такое время — такая поэзия. Другой она быть не может. Привкус запретного притупился, исчез.

Тогда же выяснилась еще одна банальность: поэзия вовсе не делится на разрешенную и запрещенную. Нет литературы советской и антисоветской — есть литература и не-литература.

Здесь, наверное, необходимо развернутое лирическое отступление. Надо все-таки как-то определяться в терминах, в отношении к литературе "официальной" и "неофициальной".

С первой вроде все более-менее понятно.

Со второй — труднее.

Ближе всего по духу (из того, что попало, что успел прочитать) — "Часы" и "Обводный канал". Серьезные издания с многолетним стажем. Ссылки друг на друга, перекрестный анализ материалов, сложившийся круг авторов. Мне все-таки кажется, что это литература "для себя". (Есть такой термин: "поэт для поэтов" — таковым долго считали, например, Хлебникова).

Неформальная культура сложилась, установились какие-то каноны, определенная система ценностей, этика и т.д. Причем во многих особенностях — зеркальное отражение официальной прессы. Если для Союза писателей авторы "Обводного канала" — величина мифическая, то Владимир Лен на страницах этого же издания в 1984 году вполне логично и аргументированно доказывал, что большая часть массива, именуемого "современной советской поэзией" — суть вырожденный городской фольклор ("Принципы метапоэтики").

Величина от перемены знака не меняется.

Долгое время было очевидно, что существовать одновременно в двух системах координат художник не может. Либо — либо. Материал, помещенный в неофициальном журнале, как бы автоматически свидетельствовал о том, что на "полезную площадь" "Молодой гвардии" автор не претендует.

В последние годы все сместилось и перемешалось. Началась интеграция, причем, естественно, односторонняя.

Так вот (к чему я это все клоню): либо существуют две культуры (и конечно, каждая в своих, ей присущих и для нее органичных формах), либо культура одна, а внутри нее — группа "неофициальных" авторов, за неимением выхода к широкой публике довольствующихся десятком экземплярами.

Если принять первую версию, тогда узкий круг — условие существования, а не недостаток, обусловленный монополией государства на средства информации.

Творческие вечера В.Кривулина в ДК им.Ильича ажиотажа не вызывают. И это нормально.

Именно поэтому так циковато "смотрятся" стихи Ширали в "Звезде" или того же Кривулина в "Неве". К альманаху "Круг" это относится в меньшей степени — все-таки все свои. Зато сам альманах на прилавках Ленкинги выглядел забавно.

(А когда "Новый мир" печатает Бродского или в "Октябре" публикуют Набокова — такое ощущение, что нам чего-то все же недодают, что-то самое важное от нас прячут...)

Контр-довод напрашивается: надо ведь с чего-то начинать? Надо искать своего читателя, формировать культуру восприятия... Может быть, для "неофициальной" поэзии иная форма и не нужна. Или даже губительна. Но для того, чтобы точно знать, хорошо бы попробовать.

А хорошо ли вливать в старые мехи новое вино?

Это промежуточное сознание.

Конечно, недостаток.

Но в моем представлении качество поэзии Долматовского напрямую связано с многомиллионными тиражами его изданий.

Никто из троих представленных в нашей подборке авторов так никуда и не вписался. Ни в "официальную" структуру, ни в "неофициальную". Какой-то перпендикулярный путь. Свеча между зеркалами.

Ограниченность, замкнутость круга. Отсюда — обилие стихов о стихах, о том, как они пишутся или не пишутся. (Впрочем, я ведь тоже начал с объяснений, почему пишу так, а не иначе!)

"Живи, ребристый, многотрудный стих..."

(Гурьянов)

"Сметем в строфу оставшиеся крохи..."

(Новаковский)

Примеры искать недолго.

К названной примыкает и другая особенность. Вторичность большинства стихотворений, помещенных в трех подборках этого номера, очевидна и даже в доказательном цитировании не нуждается. То Мандельштам из строчки выглядывает, то Анненский углом выпирает или Пастернак торчит. (Это я нарочно так иронически, чтобы не очень всерьез). Но прикрепленность чаще не к строке, не к имени даже, скорее — к общекультурной традиции. "Вторичность" — слово ругательное. Но здесь, кажется, другое. Вторичен не взгляд (хотя и это бывает), а материал, когда в одном ряду фонарный столб, звезда, поэтическая строчка.

Может быть, скрытая пружина всего современного искусства — тоска по "первой", настоящей реальности ("адамизм"?). По миру предметов, еще не названных словом. Или так было всегда? Во всяком случае, не с акмеистов началось — много раньше.

Для сегодняшнего человека такая "чистая" реальность недоступна. Все, что он видит вокруг — видит через призму, через линзу. А через какую именно (передовая "Лен.правды" или строка Мандельштама) — так ли важно? Между предметом и словом — мерцающие наложения бывших употреблений, оттенки давних смыслов.

Мир, в котором единственно реальной оказывается только что написанная строка.

Попытки деавтоматизации восприятия.

Через смещение, искажение, логику абсурда — один путь. От обернутов до Бартова.

Или — через вскрытие механизма ("интересно, как он устроен?"): те же "Принципы метапоэтики" В.Лена.

Еще вариант: возвращение к быту, к гипертрофированной вещественности деталей (от "Столбцов" — до — ...? — может быть, Бродского, а то и Нестеровского...).

Имена случайны, да я ведь и не монографию пишу.

Еще способ — стремление к адекватно изображенному потоку сознания. Аграмматизм, транскрипция фонетических искажений речи и т.д.

И все вместе — попытка корректировать искажения первой линзы с помощью второй.

"Ностальгия по настоящему". (Ну, Вознесенский, а что - нельзя?)

Реальность недоступна, текуча. И мы скользим по ней, расплываемся, как капля нефти на поверхности воды. А радужные разводы называем поэзией.

Вторая линза.

У Игоря Савво это особенно заметно в крупных вещах - не новое впечатление вызывает к жизни строку, а предыдущая строчка. Одна цепляется за другую. Бесконечный венок сонетов, в котором невозможен последний, завершающий аккорд. Свод без "замкового" камня.

И - не поэтизация похмелья, а похмелье как способ первичного восприятия.

Стилизация - тоже вариант, тоже способ. Примеряем то ментик, то арестантский бушлат. В стремлении обрести себя, свои ценности, выдергиваются клочки из чужих систем. Но своя, цельная, - никак не складывается. Не стыкуются кусочки.

Есть в этом что-то от игры в бисер. Только набор из совсем уж разных рядов, поэтому и рассыпается чаще, не выстраиваясь.

Это не плюс и не минус. Таков язык. Нет поиска небывалых ритмов, нет словотворчества (за исключением нескольких совершенно прозрачных случаев), обернутских смысловых сдвигов, алогизмов.

Новое возникает на каком-то ином уровне, более общем, может быть. Не другой урол зрения, а более пристальный взгляд вглубь, в обычное, привычное, повторяющееся. Как свечка в двух зеркалах.

Вторичность поэзии?

Вторичность бытия. Судьба, подчиненная законам поэзии.

Поэтому так естественно возникает и тема театра. Наверное оттого, что очень не хочется видеть случившуюся жизнь окончательной. Варианты судьбы, роли и маски. Стилизации А.Гурьянова, "Мой театр" А.Новаковского.

"Когда-нибудь мы будем жить еще раз,

Уже другими, лучшими, бог даст..."

(И.Савво)

И еще (это уже чисто субъективное): глубоким, спокойным ощущением безвременья окрашены эти стихи. Не каждое стихотворение в отдельности, а все вместе.

Спокойствие маятника в мертвой точке.

Разрыв между прошлым (которого мы не знаем) и будущим (а кто в нем хоть чуть-чуть уверен?)

Наверное, поэтому все три опубликованные подборки менее всего похожи на "дневник души" — нет движения, нет развития. Скорее уж — портрет души. Портрет в стиле ретро.

Причем мне ни одна из поэтических подборок не кажется безусловной. "За кадром", на мой взгляд, остались вещи и более сильные, и более характерные. С Игорем Савво случай особый: у него критическое отношение к собственным стихам возрастает прямо пропорционально квадрату времени — до полного паталогического неприятия ранних вещей.* Но ведь А.Гурьянов стихи не пишет уже несколько лет, его поэтический мир (на сегодня) закрыт и закончен?~~жж~~ И тем не менее — разрушаются сложившиеся циклы, перетасовываются даты. Зато, может быть, портрет получится более похожим?

х х х

Мироощущение Алексея Гурьянова (это, впрочем, отчасти относится и к А.Новаковскому) напоминает мне беззвучный и очень замедленный взрыв: мир неотвратимо разваливается, рассыпается на части, и вот эти осколки, обломки поэт пытается остановить, зафиксировать словом.

* Когда подборка И.Савво была уже отпечатана, он вдруг заявил, что все — не то, эти стихи публиковать не следует и надо все "перелопатить". Что — то не сказал. Так что подборка, предлагаемая вниманию читателя, сформирована из стихов в соответствии со вкусом редактора... (Прим.Д.С.)

~~жж~~ См. стр. 21

(Прим.А.Гурьянова)

Фрагментарность сознания. Цельности, синтеза — не дано, есть где-то за пределами стиха ощутимая тоска по целостному восприятию (может быть, — XVIII век?), отсюда, наверное, и цитаты, и стилизации, и внезапные прорывы высокого одического слога.

("...Кружение и преображение

дум потаенных, долгих дум..." —

явно ведь не отсюда, в нашей жизни дум нет, есть соображения, мнения, иногда — мысли. "Думы" если где и встретишь, так у Юлия Кима, то есть опять-таки в стилизации.)

Стремление уловить тончайшие оттенки неповторимого мира, отраженные в каждом осколке, естественно провоцирует Алексея Гурьянова к пересечению с еще одной традицией — с традицией восточного (точнее — японского) стихосложения. Школа Басё, школа лирической миниатюры. Прививка ветвей танка и хокку к стволу русского стиха. Небольшие циклы "Еще осень" и "День и День" мне ближе всего остального, хотя и в них не все ровно. Именно в этих циклах отрывочность восприятия странным образом приобретает эстетическую завершенность.

Можно попробовать (по извечной привычке к систематизации) как-то обозначить жанровую неоднородность подборки А. Гурьянова.

"Картинки": "Я рисовал на улице дома...", "Март", "Тридцать третьего портвейна...", "Ветер...", отдельно — "День и День" и "Еще осень".

Стилизации: "Царское", "Татчина", "На горе, в кольце баллот...", "Четырнадцатый год" — тоже, в общем, "картинки", моменты истории...

Элегии: как-то выпадают. Переход из настроения в пейзаж и обратно, и даже не в этом дело, какой-то трагически незавершенный брусилковский прорыв к новой форме.

Я не представляю себе А. Гурьянова в крупной поэтической вещи. Поэма невозможна, более того — сюжетность практически невозможна. (Сюжет почему-то воспринимается иронически — "Монашенка").

Это даже не импрессионизм. Пуантилизм, образ возникает из совокупности цветных точек. Причем большая часть холста осталась чистой...

И еще. Не знаю, как вас, читатель, а меня не оставляет

ощущение присутствия за стихами Чего-то более высокого, чем поэзия. (У Игоря Савво, например, это невозможно).

Если продолжить аналогию с живописью, то в подборке А.Новаковского — акварель. Прозрачная ткань стиха. Как бы ненастоящий мир, мир ухода, преломленная реальность, в которой, однако, можно жить. В отличие от настоящей. Заданная (повторяюсь) вторичность, условность. Обаяние неуловимого и неопределенного, его трудно описать (впрочем, не легче и отделаться от "...пяти снежинок...")

Поэзия Новаковского — точность полутонов, меткость якобы небрежного наброска. Самое главное слово, доминанта — "чуть-чуть". Пристальное внимание делает невозможным поступок, а спекуляция с уравнением "Слово — Дело" — не для него.

Тонкая сетка образов: не выловить суть и смысл, но отгородиться, защититься от мира, где постоянно нужно поступать и решать, принимая свое добро и зло за истинное.

Неустойчивость этики в меняющемся мире, амбивалентность каждого шага (или его отсутствия), относительность всего перед всеобщим сумасшедшим домом... Штопор самоанализа прокручивается вхолостую (скрытая цитата — см. "Война и мир").

Истинность эстетического чутья тоже под сомнением, но это единственное, что остается нам. Чувство прекрасного уродливо разрастается на месте бывшей любви, позавчерашней дружбы, благих намерений и помыслов.

Поэзия Новаковского боится реальности? Да нет. Слегка сторонится, сжимается от прикосновения, болеет ею — но куда же деться.

Хрупкий мир? Обманчивая хрупкость.

"Саратовский" (армейский) цикл — вынужденное совмещение несовместимого. Эта ранимая интеллигентность оказывается очень живучей — именно в способности ухода, ускользания в иную плоскость, время, измерения. (Безухов в плену).

И тоже ощутимы попытки прорыва, толчки в скорлупу, самим же и созданную, — разбить, чтобы туда, где до следующей оболочки не достать: иллюзия свободы...

Так что же — ярлычок "мило, талантливо"? Терзания Тригорина, вероятно, близки и понятны А.Новаковскому. Но без вечного сомнения в себе должно ли быть поэту?

И еще: очень ленинградская (по тону) лирика. ИИ И очень лирика.

Сверчок. Если бывают бездомные сверчки.

Стихи Игоря Савво практически невозможно положить на музыку. В них слишком властно присутствует собственный ритм, своя мелодия, найти адекватный музыкальный рисунок очень трудно.

Это не графика, не акварель — полновесная живопись; плотность и насыщенность этих стихотворений самодостаточна, они "закрыты" в себе — то, что сказано, иначе сказано быть не может.

Формальных трудностей для него как будто нет, или они не замечаются. Звуковой и образный строй, перебой традиционных размеров, точность внутренней рифмы никогда не становится самоцелью.

Давление мысли на строгую клетку строфы растет, все лишнее из нее выталкивается, выдавливается. Из стиха уходит предикат, предмет разговора, утрачивается подлежащее. То ли это отзвук знаменитых развернутых стихотворений—"сказуемых" Пастернака, то ли эллиптичность интеллигентского маргона (общение "формулами" — игра в биссер), то ли предельно адекватное отражение внутренней речи, "речи для себя", когда многое — намеком, точкой, а не линией... Может, и все вместе, или совсем не так.

Поэтическое сознание И. Савво сюжетно, не только потому, что один из ведущих мотивов — тема пути, дороги. Строки цепляются друг за друга, строфы стягиваются в циклы, в более крупные единства. Так возникают "Сумасшедший" и "Музыкальный ящик".

Главная нота в мощном аккорде этой поэзии — присутствие настоящего. Очень вообще, но точнее сказать трудно.

х х х

Время не просто идет, оно идет мимо нас. Может, уже прошло. Теперь другие, зубастые или равнодушные, пусть, но мы-то все там, в подворотнях и парадняках, в кислом запахе вчерашнего портвейна и дребезжании одинокой струны; в бесконечном выяснении отношений, которых, как выясняется, нет; в перекрестных романах и тщательно спрятанном страхе перед грубой силой, открытым хамством и мундиром любого цвета...

Это мы.

Нужно или не нужно — мы есть.

Вот ведь в чем дело.

(В последнем отрывке — явное влияние Б.Вахтина. Ну и ладно. Ведь не ради ребуса — "живу, как пишу — свободно и свободно"!)

Д.С.

(Здесь, кстати, надо привести библиографию. Стихи А.Новаковского печатались в "Граале"; А.Гурьянова — в "Часах" и в газете "Трибуна" объединения им.Карла Маркса; И.Савво публиковался в "Граале", "Часах", газете "За строительные кадры" и в каком-то издании Оксфордского университета — пути господни неисповедимы! В 1984 году был отпечатан в 12 экземплярах и разошелся неведомо куда сборник "Трилистник", объединивший впервые трех авторов под крышкой одного переплета...)

Г. С в я т с к и й

ИЗ ЖИЗНИ СВИРИДОВА

...Сургучная печать таяла, растекаясь шоколадом по конверту. Пузырящаяся масса склеила уже пальцы рук, так что их теперь невозможно оторвать от бумаги, а сургуч, словно увеличиваясь в объеме, полз по рукам, подбираясь к груди, шее, лицу. Сургуч душил, и невозможно было крикнуть, а крикнуть хотелось. Но когда он залепил рот, ноздри, когда он засиял фиолетово-синим светом, срывая откуда-то из-за спины одиночные фортепианные звуки... тело обмякло и, бессильное, потонуло в ватном, глухом небытии...

Свиридов сидел на своей постели и, ничего не соображая, мотал взъерошенной головой, сился расклеить слипшиеся ресницы. Поднять руку сил не было. Зазвенел будильник, а сон никак не хотел отпускать. Он проникал в каждую клеточку, в каждую складку на теле, уговаривая вложить голову в теплое лоно подушки. "Аля..." — слабо позвал Свиридов, и Аля возникла в дверях, затем подошла и мокнула его лицо в мокрое полотенце: "У тебя сегодня много дел, хватит нежиться..." И ушла. И Свиридову ничего не оставалось делать, как слезть с кровати.

...Он стоял у двери, одетый, проверяя карманы — ничего не забыл? — а Аля суетилась вокруг, беспрерывно что-то говоря:

— Так, это я сделаю сама, а ты... ты вот, зайдешь на обратном пути в магазин... Что еще?... Еще, еще, еще...

Свиридов упорно хотел спать. "Чего это я так спать хочу?... Вчера... Ах, вчера... А что вчера?... Вчера, вчера... Сегодня лучше, чем вчера... А завтра? Завтра лучше, чем сегодня... уж и подавно..."

— ...а Селена уж и подавно... Ты меня слушаешь?

— Да...

— И помягче с ней, ради бога, а то брякнешь, не подумав, а я опять весь вечер буду оправдываться. Ладно?

— Да...

— Да, ~~уж~~ ты не забыла... И ты тоже хорош, даже не вспомнил, — вот, зайди, чего им опять надо, — и сует в руки бумажку с печатью.

— А сургуч где?

— Чего?... Да, ты что, спишь что ли?... Олух...

— Нет... Я пошел.

— Давай, беги... В перерыв позвони, слышишь? — сыпалось на Свиридова сверху в пролет, а потом дверь хлопнула.

"Хорошая она все же, Аля, — думал Свиридов, спускаясь по лестнице, — заботливая. С ней как у Христа за пазухой, или как..."

Снег шел, видимо, с ночи. И дворники похожи на неповоротливых детишек в песочницах...

Свиридов ехал на работу.

... — Свиридов, товарищ Свиридов, вас к управляющему. Срочно.

— Уже иду... Селена Викторовна, вот, жена вам передала, а рекомендации дам по возвращении, — улыбаясь как можно естественней, полупрошептал Свиридов.

— Хорошо, хорошо, Максим Игоревич...

"Селена, Селена... Селена-Сирена..."

— А, Свиридов, входите... входите, Свиридов, входите... Ну, как дела, Свиридов? — прошуршали пальцы по стопке бумаг.

— Ничего, стараюсь... Спасибо.

— Спасибо, Свиридов, спасибо... Освоились? — покрутили пальцы зажималку. — У нас справочка на вас, — щелкнула зажималка, выпустила столбик огня.

— Да, мне жена уже передала. После работы я прямиком туда, только в магазин еще...

— Нет, раздвинулись влажные губы, обнажая розовый язычок, — в такое заведение и с продуктами... Вы лучше вот что, идите прямо сейчас... а то, знаете, — лоб покрылся мелкой рябью.

— Я, конечно же, но работы много...

— Об этом не волнуйтесь, — защитили руки белую грудь в галстуке, — Селена Викторовна возьмет это на себя.

"Та-ак... Селена Викторовна, значит? ясно... Ой, шалишь, Селена Викторовна, ой, шалишь. Но ничего, мы еще посмотрим, кто кого."

— А у меня еще материал есть, на целую полосу, — зачем-то выпалил Свиридов.

— Вот и отлично, вот и хорошо, — изобразили руки цветок лотоса, — Возвращайтесь и доделывайте, а там глядишь и... — описав петлю, правая рука упала в неопределенность.

"Почему он так странно говорит со мной? Опять Селена?.. Ах, неужели Алька? не, цуреха... Вот тебе и сюрприз, вот тебе и новогодний репортаж!.. Черт..."

- Ну, хорошо. Я, значит, побежал...

- Угу, угу. Бегите, Свиридов, бегите, - прошуршали пальцы по стопке бумаг.

На входе сидел швейцар - не то пожарник, не то железнодорожник...

- Товарищ, где здесь тридцатая комната?..

- Покажите квитанцию, - отлепился швейцар от телевизора, - та-ак, секундочку, восемнадцатое... Свиридов... комната тридцать... Алле? Тридцатая?.. Тут Свиридов объявился.. Угу...Угу...Ч-черт его знает...Угу...Ладно...Ну, он ищет?.. Угу...Дзын-нь...Та-ак, Свиридов, на третий этаж, значит, налево, по лесенке и в ном-мер; значит...Та-ак, штампик на документик...о-оп...ну вот, порядочек...

- Спасибо вам... Ну, я побежал?..

- Да не за что, товарищ... Бегите, бегите...

В узком, длиннѳм без окон коридоре сидело и стояло человек тридцать вдоль розово окрашенной стеночки. И возле каждой из четырех дверей толпилось человека по три-четыре. Двери то и дело открывались, и из комнаты в комнату перетекали сонные, похожие на туберкулезных, секретарши с папками, люди в странной, как у швейцара, форме, посетители, какие-то старички в официальных костюмах, с чайничками..."Ну, это не меньше, чем часа на четыре", - сказал Свиридов сам себе, притулившись к стенке.

- А двадцать не хочешь?..

- Чего - двадцать?..

- Чего, чего! Рублев двадцать не хочешь!

- Вроде бы... с января...

- С какого января...

- Я уже третий год на очереди - ни шиша. И муж писал, и дочка хлопотала - хоть бы пальцем кто пошевелил!..

- Ага... Посиди на таком окладе, тогда поймешь. И сын еще женился, идиот... Ей, говорит, только прописка нужна, а жить, мол, у товарища... Ни черта я что-то не пойму...

— Во-во, у меня то же самое было... Сначала — пусть вещи побудут, через день — сами явились... Пьют на мои, жрут на мои...

— А милиция куда смотрела?

— В карман она смотрела.

— Бред какой-то...

И вдруг: "Служащая Крупская, срочно спуститесь к дежурному! Повторяю..." — гаркнуло радио с потолка.

Прошло два часа. Свиридов пригнулся у стенки и даже вздремнул чуть-чуть, плотно зажатый с боков.

— Что, не принимали еще?

— Вроде бы нет...

— Ну-ну...

— Угу...

Из всех комнат разом вышли секретарши, и двери на ключ закрывают. Полусонная толпа зашевелилась, растеклась, обволакивая угловатые долговязые фигуры женщин, приклеивая их одну к другой:

— Товарищи, товарищи... Всех примем... У нас обед... Не волнуйтесь...

Поползли по коридору старички со стаканчиками, с чайничками, исчезая в дальней комнате с табличкой со стертой надписью...

— Кто крайний в тридцатую? — возникла в проходе улыбающаяся, свежая с мороза фигура.

Молчание.

Вопрос повторился.

— Все здесь в тридцатую, — сладко зевнула толпа.

Тогда фигура тоже зевнула и пристроилась к стеночке, вперив увеличительные стекла очков в низкорослого свиридовского соседа. Тот огрызнулся:

— Ну вот, уставился... И так тошно...

— Всплывают две лодки. Ихняя новенькая, свежая и наша вся обшарпанная, на правый бок заваливается...

— Сам посуди, до трехсот в месяц набегает...

— Я, конечно же, но работы много...

— Кто валенок на пульт бросил?...

"Служащая Крупская, срочно спуститесь..."

"Да-а, тут материалу не на один новогодний репортаж, — подумал Свиридов, — а, собственно, чего это я разнервничался? Ну подумаешь, Селена перехватила! В первый раз, что ли? Все равно ей лучшего материала в жизнь не достать... Пусть подбирает... Зато у меня... Получу к Новому году конверт... А там... Сургуч... Вот ерунда-то... Сур-ргуч-ч-ч..."

— Что вы, что в-вы, к-как мож-жно...

"Служ-ж-жащая Кр-р-руп-п-ская..."

— Дзын-н-нь... Ле-е-е...

— Ал-л-ле-е-е... Ал-л-ля-а...

— Аля... Ан-н-ня... Сле-е-е-го-го...

— Следующего, Аня! Сле-ду-ю-ще-го!

— Свиридов! Сви-ри-дов!

— Та-а-ак... Фамилия? Угу... Свиридов... Садитесь...

— Анечка, дайте сто двенадцатую... да-да, синенькую... угу... так...

— Свиридов... Свиридов... Угу... Сегодня, между прочим, опять давали... В комнатке было тесно и очень душно.

— Чего это у вас так жарко, и таракан вон ползет... — сказал Свиридов.

— Ай! Где таракан... Ой, мамочка, ой таракан... Ай, ой.. ой, ай...

— Что тут у вас?... — сказала крупная голова, всунувшись в дверной проем.

— Да вот, ~~хакхак~~ товарищ Свиридов тут... чуть Анечку в гроб не загнал...

— Ай-ай-ай, товарищ... лучшую сотрудницу, можно сказать. — голова, улыбаясь, исчезла в проеме...

"Служащая Крупская..."

— Ну Верка, дает...

— Так... Свиридов... Ага... Есть такой...

— Есть?.. Давай сюда... И что давали?..

— Ну эти, как у Палыча...

— А что?... Какой рост?..

— Ну конечно... Я вон Палычу заказала...

— Э-эй, Свиридов, ро-ост...

— А? Рост?... Мой?... Сто семьдесят пять...

— А чего это Палыч сегодня вырядился?...

— Дата у него... Свиридов, в следующую комнату... Просил не расходиться... Сюрприз будет...

— Какой сюрприз?... Мне?...

— Да бог ты мой, Свиридов, я не вам, идите... идите...

— Чудной тип какой-то...

— Да ну его... Слушай, у Палыча между прочим...

— Так... Свиридов... угу... штампик... штампик есть... хорошо... В тридцатой были?...

— Да, я оттуда...

— Хор-р-рошо... Ал-л-ле... Сергеич... Что у нас по ГАС-у? это по штатным?... Не только?... Для основных?... Хор-рошо... у него — один ва. Да... Угу... Вроде бы солидная контора, а видишь... Угу... Ну, я дам по двадцать второму... Ага... Дзы-нь... Так... Свиридов... Вот ваш талон, ждите в коридоре...

Свиридов опять ждал. Терпеливо так ждал. Все послав ко всем чертям. "Вот тебе и сон... сбылся... Но странно как-то... Сургуч... При чем тут сургуч?... А в общем-то все правильно... И нечего было соваться... Отмазаться надо было... А теперь... Все... Поздно... Но в следующий раз — черта с два... Умней надо быть, Свиридов... Спать больше надо... Спать... спать... спать... А завтра... завтра все... все по новой..."

— Товарищи, у кого?... Го-го-го... Суп-п-п-пу-пу-пу...

— Зап-в-тра-ата-та-та-та...

— У кого на штампах стоит отметка ПЭС-І, сегодня прием всех с ... — сказала крупная голова, улыбаясь Свиридову.

Свиридов увидел, что в коридоре осталось девять человек. И тишина. Стало как-то легче,^{ше} так напряженно. Свиридов вообще такой человек, что теряется от большого количества народа. Ему даже говорили: "Что ж ты, Свиридов, в редакцию-то пошел, ты ж, говорят, сбежишь". Но не сбежал Свиридов ни через месяц, ни через год. Не Селене же там работать, в самом деле.. И то верно.

— Не, я пошел к такой матери, — прошипел один из оставшихся.

— Так осталось-то с гулькин нос, — останавливал его другой.

— Ну и черт с ним... Пускай опять вызывают... Я жрать хочу...

— И вызовут...

— Угу...

— Ага...

— Что за волнения в танковых войсках? — улыбнулся большеголовый Свиридову, ну прям как старому знакомому. Свиридов аж засмутился.

— Да вот, сургуч тут привязался — промямлил Свиридов.

— Что?... Что вы сказали, товарищ...

— ...Свиридов...

— ...товарищ Свиридов...

— Сургуч, говорю... Да и домой пора...

— Где?

— У Анечки на стенке. Ползет.

— А-а, вы про это, — опять улыбнулся большеголовый, — она ушла уж... домой... Вот... Так, что...

— Ничего, завтра...

— Да, завтра лучше чем сегодня, — сказал большеголовый

— А сегодня? — заинтересовался Свиридов.

— ...чем вчера, — твердо ответил большеголовый.

— Вот и хорошо...

— Да и я про то же самое, — улыбнулся большеголовый, скрываясь за дверь.

— Ну, все! Я пошел, — сказал тот, кто заварил всю эту кашу.

"Служащая Крупская, срочно спуститесь к дежурному..."

— Ах ты, мать твою так! Н-на!.. — швырнул шапку в говорильник уходящий. И пропал. И почти сразу же по лестнице послышались твердые шаги:

— Кто здесь ПУС-1?...

— Это мы, — облегченно вздохнули ожидавшие.

— А почему восемь? Где еще один?

— Не дождался...

— Ушел...

— Ну и черт с ним... Восемь так восемь... Пошли за мной, мужики...

И пошли. По коридору. В дверь. Через комнату... Опять коридор... Лифт. Влезли. Поехали.

Все это произошло как-то помимо Свиридова. Ему настолько было все безразлично, да и ноги затекли от долгого стояния, и спина болела, и в голове было пусто-пусто... "Как у одного моего соседа, что этажом ниже," — подумал Свиридов про себя. И про себя же рассмеялся. Только получилось, кажется, вслух, потому что и остальные тоже смеялись. Почему-то. Но Свиридову было наплевать и на это. И он продолжал... Думать. "Вот прицу домой, поцелую Альку, растоплю сургуч... или канифоль, все равно... и вылью Селене на голову. Пусть знает, сука такая, как мне дорогу перебежать..."

— Та-а-ак, приехали... — сказал старший. — Товарищи, теперь осталось последнее. Всем раздеться до трусов и бегом через зал к шведской стенке... И вдоль стеночки... Все.

На мгновение стало тихо. Где-то капала вода, ударяясь обо что-то металлическое, и звук этот походил на одиночные фортепианные брэнчания. Свиридов огляделся по сторонам и увидел, что привели их в какой-то спортивный зал с мокрым, покрытым плесенью потолком. И сквозь плотное синевато-фиолетовое освещение проявлялась шведская стенка. Было холодно и раздеваться не хотелось совсем.

— Может, вы нас и на центрифуге крутить будете?... — съехидничал кто-то.

— Надо будет, покрутим...

— Давайте без этого маскарада, а? Ну сколько можно-то?

— Товарищи, ну чего вы раскисли?... Ведь все уже... А вы... Э-эх...

— Ну ладно, ладно... давайте... быстрее только... ради бога...

— Та-а-ак, готово?... Ну а теперь бегом марш...

И они побежали по каким-то поролоновым матрацам, липким и скользким, проваливаясь по колено. Падали. Кое-как вставали и бежали, бежали... Впереди Свиридова бежал тот, низкорослый, похожий на общипанного петушка, в черных трусах до колен...

— Строем, строим, товарищи, форму все же блинчики надо...

"Ч—черт, почему у этих всех такие идиотские трусы... Нет, это они нас подтягиваться заставят... А я не умею... Ну, черт его побери совсем... Ах, Селена, Селена..." — подумал Свиридов, пока бежал. Но вот они добежали и выстроились вдоль этой треклятой шведской стенки.

— Та-а-ак... Стой! Р-раз-два!.. Молодцы!.. Палыч, готов?

— Давно уже...

— Тогда... Внимание... При-и-готови-ились!..

Свет ударил Свиридову в лицо и показалось, что Алька мокнула в него мокрое полотенце... Свиридов протер глаза и увидел прямо напротив себя восемь маленьких дырочек, и над каждой из них по одному человеческому глазу, внимательно разглядывающему его, Свиридова, переносицу...

"Бред какой-то..." — подумал Свиридов...

— Пли!.. — прокатилось звучно по залу.

И одновременно с этим звуком, странным и страшным, восемь красных вспышек слились в одно яркое пятно, изрыгнув корявые буквы: "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" прямо Свиридову в голову, словно в него плюнули горячим, расплавленным сургучом. Все эти буквы разом вошли через переносицу в мозг, разрывая его. Но, видимо, восклицательный знак застрял в образовавшейся дыре, потому что Свиридов почувствовал горячую адскую боль..

Рубрику "Гласные и согласные" открывает наш гость — редактор журнала "Рокси" Ленинградского рок-клуба Александр Старцев ("Я ведь тоже тридцатилетний...")

"ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ БЫЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД?.."

"...Длинный человек с чуть напменным лицом и маленькой бородкой сел к пианино и стал настраивать гитару, которая, как маленький красный зверь, притаилась у него на коленях. На возвышении, служившем чем-то вроде сцены, появился меланхолический ударник с сигаретой в зубах. Он опустил на одно колено и начал поправлять басовый барабан. Затем, обойдя установку, склонился над тушей барабанов, и зал огласился привычным заклинанием:

— Раз, два... раз, два... раз, два...

Легко поднявшись, человек с красной гитарой тоже подошел к своему микрофону, и глубокий низкий голос его раздался из черных потертых тумб, стоящих по краям сцены.

Появился пианист в длинной широкой вельветовой куртке, похожий на какого-то бога, одевшегося мощным художником. Он тронул клавиши, развернулся и воззрился в зал. Оттуда вылез кто-то с болезненным лицом, взял гитару и воткнул штекер. Мальчик со скрипкой откинул папиросу и приложил скрипку к плечу.

Музыка возникла неожиданно, и никто не смог уловить момента, когда люди на сцене перестали быть людьми из плоти и крови и воплотились в звуки. Взпрогнул на ветру, растаял мир, и вспыхнуло, как сухая трава, сердце. Скрипач, еще совсем юный, ласкал скрипку своими длинными нежными пальцами. Она пела, как поют деревья, готовые отдать себя ночи, как поют ильские поля на восходе. Он смотрел куда-то мимо всего со строгим застывшим лицом. А потом музыка взрывалась, и скрипка, как раненая птица, срывалась в штопор, обезумевшей гоночной машиной носилась по кругу, распиливая реальность, вылетая на крутых виражах из пространства и времени, опровергая законы гармонии и разрезая небо надвое.

Битком набитый зал постепенно накалялся. Обычные разговоры словно обрезало ножом. Впрочем, их бы и не было слыш-

но, и лица, обращенные к сцене, как к Богу, начали расплавляться в этом шторме звука. Вразнобой стучащие сердца обрели единое биение, слившееся с пульсом песни. Маленький косматый человек, только что распевавший что-то во всю глотку, куривший четыре сигареты сразу, и вообще веселившийся вовсю, как разбуженный, замолк и, судорожно раскрыв глаза,пил музыку всем своим существом, а скрипка писала на его лице отчаянье.

Становилось все горячее. Пианист, забыв обо всем, бросился в море клавиш, и руки его вспыхивали, как зарницы, разбиваясь о ноты и рождая гармонию. Ударник уже не существовал как человек, а были только палочки, бьющиеся в пальцах о барабан, как о мир, изредка из-под развевающихся волос прорезал воздух невидящий предсмертный оскал. Песня рвалась на части, чтобы выпустить, наконец, свет из людских сердец, и на самой высшей точке, когда дальше идти уже было некуда, человек с гитарой засмеялся в микрофон. Так мог смеяться дьявол. И вдруг он рванулся вверх и вперед, а гитара — кричащая птица — полетела впереди как душа, вырванная из тела."

То, что вы прочитали — отрывок из произведения Бориса Гребенщикова под названием "Роман, который так и не окончен". Люди на сцене имеют своих более чем реальных прототипов — в человеке с гитарой легко угадывается Владимир Рекшан, в скрипаче — Никита Зайцев, а все вместе — ансамбль САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, одним из первых в нашем городе начавший петь рок на русском языке. Описанный столь поэтично рок-концерт происходил где-то в 1971-72 годах.

А где в то время был я и большинство моих сверстников, да и людей постарше? Мы все гонялись за пластинками ДИП ПЕРИЛ и ЛЕД ЗЕППЕЛИН или переписывали друг другу рок-оперу "Иисус Христос — суперзвезда". Для того, чтобы идея рока на русском языке овладела массами, потребовалось почти десять лет.

Данные заметки об отечественном роке не претендуют, конечно же, на всеохватность и касаются, в основном, ленинградской сцены, поскольку автор многое наблюдал воочию, в чем-то был участником событий, да и ленинградская рок-

музыка по праву считается авангардом этого жанра.

Итак, начало 70-х. В Москве набирает популярность МАШИНА ВРЕМЕНИ, в Ленинграде буйствует САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — Рекшан в турецком халате с будильником на шее прыгает по сцене в Академии художеств. Уже МИФЫ имеют репутацию самой "хорошо звучащей группы" в городе. (Эту репутацию, надо сказать, они сохранили и сейчас, ибо творческий метод их прост: "все отключить, включить это, это и два вокальных микрофона".) В хард-роковые РОССИЯНЕ пришел новый гитарист — никому не известный Георгий Орцановский.

Но... Все это — капля в море. Русскоязычный рок "широко известен в узких кругах". На концерты ходит, в общем-то, одна и та же публика. Что нам осталось из записей тех лет? А ничего. А почему? А потому, что никто и не думал тогда все эти песни записывать. Какого хрена тратьте драгоценную пленку на вирши какого-то Данилова или Орцановского?!

Настоящие, крутые по тем временам команды так не поступали. Вот "сделать один в один" БЛЕК САББАТ или СЛЭЙД — это считалось действительно здорово. Главным критерием было максимальное сходство с оригиналом. То есть налицо было полное торжество содержания над формой.

Официальные учреждения — Министерство надзора за культурой, пресса, даже комсомол всего этого просто не замечали. Отечественная рок-музыка вполне укладывалась в их сознании в образ ВИА-пустобрехов, а бороться следовало с джинсами, волосами, хиппизмом, ну и, походя, клеймить западных рок-кумиров. В чем-то они были правы.

"Ушла "Аббатская дорога", ушли "Орбита" и "Сайгон", нам остается так немного от этих сказочных времен". К середине 70-х стал отчетливо заметен кризис западной рок-музыки, выразившийся в помпезных композициях ИЕС или многотысячных, но по сути эстрадных, шоу Элтона Джона. Длинные волосы и тертые джинсы стали постепенно исчезать и с наших улиц — заканчивались институты, рождались дети. На Западе появилось диско, которое полюбили и у нас — "какой-то нервной, запоздалой любовью", но на Западе появился и злой, жесткий панк-рок.

В Ленинград массовую альтернативу диско привезла из Москвы МАШИНА ВРЕМЕНИ. Ее концерты, начиная с 75-го, уже есть на записях, их уже переписывали и, напряженно вслушиваясь в хрипы и шумы некачественной аппаратуры, пытались разобрать слова и мелодию, а потом пели эти песни под гитару. Пошли в гору МИФЫ, РОССИЯНЕ постепенно становились культовой группой — достаточно было Ордановскому потряхнуть роскошными волосами, чтобы вызвать рев зала. БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ с лидером Николаем Корзининым унаследовал былую славу СПб. Юрий Ильченко, поиграв сезон в МАШИНЕ, стал считаться "ленинградским Эриком Клептоном". СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК во главе с Володей Козловым привлекал поклонников, играя аж в Уткиной Завоуди.

Это было веселое, все еще волосатое поколение. Основным их желанием было выйти на сцену и играть, играть, играть. Они лепили аппаратуру черт знает из чего, откладывая на усилители деньги, и покупали самопальные гитары.

На этой идее — электрической концертирующей группы, — погорели почти все из тогдашних звезд. Им казалось — вот, вот еще одно, последнее усилие — надо подкопить еще немного денюжат, докупить еще кое-что из аппарата, договориться, ну, буквально с еще одним человеком, чтобы закрепиться на "точке" при ДК — и все будет в кайф, наконец-то можно спокойно играть рок, как он ИМ видится и петь о том, что ИХ волнует. О чем же они пели?

"Мы одиноки в больших городах... — — МИФЫ,

"О какой день, солнечный свет,

Ты хороша, нас ждет много лет..." — РОССИЯНЕ,

"Я видел как восходит солнце,

Как первый луч, земли касаясь..." — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

"Можно, я буду верной собакой..." — СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ
МУЗЫКИ РОК,

"Я тебя давно не знал такой..." — БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ
КОЛОКОЛ.

Видите? А кто слышал — помните? Эти рокеры, дети хиппистской культуры, были отчаянные лирики в душе, независимо от того, как они себя могли вести на сцене, да и в жизни. Они пели о нормальной чистой любви, о нормальной дружбе и о том, что это почти всегда недостижимо. Если кто-то

вспомнит творчество МВ тех лет, то заметит, наверное, явную переключку в темах. И когда на эти здоровые человеческие мечты, желания и чувства с утробным лязгающим звуком наползала бюрократическая машина застоя, как сейчас принято выражаться, многие просто не выдерживали. Уходили в кабаки, в Ленконцерт, на танцплощадки, в наркотики или пьянство. А вместе в ними уходила и их молодость начала 70-х, их мироощущение и желание творчества.

А машина наползала всюду. Как-то постепенно чиновники начали спохватываться, что рок-то есть, что он приобретает популярность, что у части нашей замечательной молодежи есть нездоровая тяга к правдивому отображению реальности. А уже были песни и про коммунальный быт, и про давки в автобусах, и про "черные субботы" и про пьянство и про то, что "очень жаль, что лишь для птиц в этом мире нет границ, — им выход открыт". К концу 70-х заваливался каждый второй концерт, и любой, пришедший покайфовать на роке, рисковал отправиться обратно на милицейском воронке. Не говоря уж о спекуляции билетами, сомнительные договоренности об аренде ДК, левый транспорт для аппарата и т.п., и т.п.

Короче, к 80-му году рок был практически придушен, особенно после ТБИЛИСИ-80. И именно в этот момент он и приобрел поистине всесоюзную популярность.

Как?

Дело в том, что были люди, которые "пошли другим путем". И первым здесь надо назвать Бориса Гребенщикова.

С самого начала существования АКВАРИУМА Борис отказался от идеиконцертирующей группы и сосредоточился на идее группы записывающейся. Здесь дело не в гениальности Гребенщикова, а в том, что возможности не позволяли играть концерты, а положить жизнь на аппарат Борис не собирался. Естественно, АКВАРИУМ не отказывался от концертов, если такая возможность подворачивалась. Просто упор изначально делался на содержание, а не на форму. Тексты, приведенные выше, без соответствующей музыки почти не звучат. Песни Бориса воспринимаются и по акустическую гитару, а лучшие из них читаются, как стихи.

Первый альбом был записан в 1974 году, второй – в 75-м, третий – 76-м. Они не произвели никакого (почти) впечатления. Публика, повторюсь, была не готова тратить на это пленку. Некоторый перелом наступил после записи альбома "Все братья-сестры", записанного совместно с Михаилом "Майком" Науменко. Этот продукт совместного творчества уже имел концепцию, обложку, но... качество записи было все же на очень низком уровне.

АКВАРИУМ потихоньку приобретал поклонников своими песнями. К 1980 г. известность приличных интеллигентных мальчиков достигла уровня, когда их пригласили выступить на Всесоюзном фестивале "Тбилиси-80".

И АКВАРИУМ выступил...

"Вчера я шел домой, кругом была весна.
Его я встретил на углу, в нем я не понял ни хрена.
Спросил он: "Быть или не быть?"
И я сказал: "Иди ты на..."

Мы все бежим в лабаз, процрав глаза с утра.
Кому-то мил портвейн, кому милей трава.
Ты пьешь свой "маленький двойной"
И говоришь слова."

Эта песня называлась "Блюз простого человека". Там были и другие – про некую Марину, собравшуюся замуж за финна, про летающую тарелку, на месте которой автор не стал бы летать над таким местом, как то, где мы живем и про многое другое. На фоне АРИЭЛЯ или ВИА-75 это вызвало настоящий шок. Последствия были просты: Гребенщикова выгнали из комсомола и с работы, а АКВАРИУМУ запретили играть.

Времени было много, и в этот момент подвернулась студия, о которой так много мечталось. Результатом был "Синий альбом" – первый прилично записанный рок-альбом у нас в стране. Теперь любителю музыки было необязательно прорываться по дорогому билету через три кордона в зал и мучиться там, стараясь понять хоть слово сквозь перегруженный звук усилителей, а можно было сесть дома и послушать внимательно.

А послушать было что. Нет, лирика не исчезла, но с ней рядом соседствовали куда как более злободневные песни. Почти сразу после "Синего" появился альбом Майка – "Сладкая Н", где были песни не хуже. Все это происходило на фоне помпезно битлующей МАШИНЫ ВРЕМЕНИ со своим "Поворотом".

И пошло дело. Шуршала пленка на магнитофонах, и любители рока вдруг открывали, что рок может быть и на русском и иметь содержание, ведь велось там про них, про таких же, как они. И, что самое главное, — без всякого морализаторства, чем так часто грешила МАШИНА.

Второй альбом АКВАРИУМА — веселый в своей абсурдности "Треугольник" — добрался от Ленинграда до Владивостока всего за две недели. Рускоязычный рок завоевывал страну при помощи магнитофонной ленты.

А в марте 1981 года был создан ленинградский рок-клуб. Основой здесь послужила, конечно, инициатива "снизу", но не последнюю роль сыграло и то, что соответствующим организациям уже не хватало сил и времени, чтобы носиться по городу и пресекать рок-концерты. Гораздо спокойнее, рассуждали они, поместить всех под одну крышу, приставить цензора на предмет текстов и давать играть по концерту в месяц. Конечно же, они не предполагали, что произойдет, когда достаточное количество неординарных людей, до этого разрозненных, получают возможность постоянного общения. Начались концерты, обмен опытом, информацией. У кого-то нет басиста — поможет музыкант из другого состава. Машинописный журнал "Рокси", прежде выходивший как прищепка, стал выходить регулярно — в нем помещались рецензии на концерты и альбомы, критические статьи. С 1983 г. ежегодно стали проводиться фестивали — стало вырисовываться что-то вроде хит-парада.

И тут идеологи опомнились. В прессе появились погромные статьи — вспомните хотя бы "Рагу из синей птицы". Союз композиторов, обнаружив, что ежемесячные доходы падают, (у тех, кто работает в эстрадных жанрах), издал грозный приказ — ансамбли должны исполнять не более 20 % собственных произведений, остальные 80 % — членов Союза. Но коллективы рок-клуба были самодеятельностью, и их этот указ не касался. Началось строчение доносов во все инстанции о неопрятном виде рокеров, низком идейно-художественном содержании, вреде децибелов. Вершиной всего были запретительные списки, что являлось чистейшим самоуправством, но для местных властей служило поводом изымать записи из дискотек.

Самые тяжелые времена были после черненковского пленума по идеологии в 1984 году. Круги от него расходились года полтора, а где и два.

Рок, однако, выжил. Сейчас рок-клубы есть во многих городах. Там появились группы, не уступающие ленинградским — НАУТИЛУС и ЧАЙФ в Свердловске, КАЛИНОВ МОСТ в Новосибирске, ВОСТОЧНЫЙ СИНДРОМ в Магадане. В самом Ленинграде сейчас уже, наверное, четвертая генерация рок-групп, если считать с самого начала.

О том, что происходило за годы существования клуба, наверное, нет смысла рассказывать в данной статье — получится хроника, а она есть на страницах того же "Рокси". О последнем фестивале можно прочесть уже на страницах "Авроры". А чтобы обобщить и осмыслить этот период, потребуется, наверное, другая статья.

Лето 87-го запомнится всем, наверное, как рок-лето. Прошли фестивали в Риге, Ленинграде, Ярославле, Москве, Хабаровске, были гастроли по Крыму. Казалось, что року, наконец, открыта "зеленая улица".

Ан нет. Письмо Бондарева, Белова и Распутина в "Правду", статьи в "Нашем современнике", выступления академика Углова, травля Кости Кинчева, дилера АЛИСЫ, продемонстрировали нам, что все не так просто, и что есть еще много сил, стремящихся объявить рок-музыку исчезанием ада.

Я являюсь редактором "Рокси". И положил некоторое количество усилий на пропаганду, критику и осмысление рок-музыки. И вот с моей точки зрения, как это ни парадоксально, хорошо, что есть такие силы. Ибо року необходима борьба. Тогда он жив, и силы его не иссякают. А если его канонизировать, да еще освятить какой-нибудь соответствующей цитатой, то все это превратится в коммерцию и развлекательность.

Так что — да здравствует борьба. Только хотелось бы по-честному, пусть каждый отстаивает свои убеждения, не прибегая к административным запретам или милиции.



П. Никонцов, архитектор, член группы
"Спасение"

Никто не хотел сохранять

Весь город помнит, как осенью этого года не утихали страсти вокруг двух зданий на Большой Разночинной. Были там и митинги, и стычки митингующих с администрацией, милицией, разгон, аресты. Об этих событиях писали и ленинградские газеты ("Смена", "Вечерний Ленинград", "Ленинградская правда"), и самиздатовские журналы ("Вестник", "Меркурий"). Суть конфликта заключалась в том, что ленинградский завод станков и автоматов решил расширить свои производственные площади, поглотив территорию двух зданий: Большая Разночинная, 14 (дача Эйзенталя, памятник архитектуры) и 16 (жилой дом постройки начала XX века). В один из пиковых моментов исполком Ленсовета, собравшийся для решения этого вопроса, постановил все-таки разобрать дом 16, а дачу Эйзенталя перенести и поставить на другое место. Однако в процессе производства работ по разборке дома 16 случайно или не случайно стена этого дома рухнула на дом 14, фактически уничтожив его. Было достаточно оснований полагать, что "уронили" эту стену специально. Но следователь по особо важным делам, забрав дело из прокуратуры Петроградского района, повернул его на путь доказательства преступной халатности. В результате обвиняемым оказался один человек — самое нижнее звено из всего того толстого слоя начальства, которое самым активным образом принимало участие в этой трагедии. Отдельная и очень интересная тема для исследования, показывающего, как конкретно рождаются те или иные решения о судьбе памятника архитектуры, отдельного здания, куска города, города в целом, как живут эти решения, какие метаморфозы с ними происходят, кто конкретно принимает в этом участие, какова цена документа, который нам преподносят в качестве самого авторитетного. Достаточно только упомянуть, что вся эта история начиналась с постановления, вытекающего из предыдущего Генплана развития города, о переносе завода с этой территории. Через некоторое время было принято решение о сохранении завода при безусловном сохранении на своем месте всей окружающей застройки. Далее принято решение о сносе дома 16 и переносе дома 14. В какой-то момент о доме 14 перестают говорить как о памятнике и в документах в качестве памятника фигурирует только каменная ротонда, которую и предполагается переносить. Наконец, завод приступает к осуществлению своих замыслов, расчищая площадку под будущее строительство, в результате чего гибнут оба дома.

Таким образом, конец этой истории прямо противоположен поставленным в начале целям.

Случай на Разночинной — уничтожение памятника архитектуры — отличается от многих прочих аналогичных событий лишь тем, что представляет собой одномоментный акт, да еще под лучами самого пристального внимания самых разнообразных заинтересованных сторон.

Если согласиться с лейтмотивом обвинения — с утверждением об имевшей место преступной халатности, то справедливости ради следствие должно было рассмотреть конкретный случай среди множества других таких же и определить свою позицию относительно них.

Памятники архитектуры, учетные дома, рядовая застройка, заключающая в себе художественные, культурные и материальные ценности, подвергаются процессам разрушения в том или ином виде, в той или иной степени.

Наиболее зримыми они становятся при передаче дома в капитальный ремонт, когда между расхождением и началом работ проходят годы. Все здания без исключения переживают этот период полностью расконсервированными: с пустыми окнами — глазницами, без отопления, они стоят открытые ветрам и непогоде. За этот период их конструкции насыщаются влагой, что приводит к необратимым последствиям, в результате химических процессов слабеет кладка, усугубляются ее дефекты, растут и множатся трещины, утрачивается монолитность. Если в доме есть деревянные перекрытия, которые согласно проекту будущего ремонта следует сохранить, то в этот период они подвергаются такой доле разрушения, какую не накопили за все 100–150 лет своего прежнего существования. До состояния полной непригодности доходит то, что после демонтажа должно было бы стать так называемым возвратным материалом.

Почти всегда такие дома стоят с неотключенными системами водоснабжения. Вода потоками льется с этажа на этаж, зимой превращаясь в ледяные столбы и лабиринты.

Иные дома стоят со снятой кровлей и это самое страшное для них.

Примеры: без кровли не один уже год стоят: Загородный 18, Герцена, 54, Гоголя 23/8, наб. Макарова, 20, Пековская, 14, наб. Красного Флота, 46. Это только те дома, которые я знаю, а знаю их потому, что все это памятники культуры, судьбой которых лично интересуюсь.

Причем, характерная особенность: снаружи иные из них выглядят вполне сносно: кровля цела, почти все окна целы, но нет ни одного целого дворового окна и на дворовых флигелях и дворовых пролетах лицевых корпусов снята кровля.

Причем все перечисленные дома, кроме, может быть, последнего, предполагалось снести по техническому состоянию, что было запрещено Министерством культуры. Итак, взяв курс на сохранение этих трудных объектов, казалось бы, следовало сделать максимум для консервации существующего состояния, так нет — эти и без того уже слабые конструкции не один год подвергаются самым губительным для них воздействиям. На наб. Макарова, 20 и Гоголя, 23 исчезла кровля и произошла полная расконсервация уже после того, как Министерство культуры отклонило вопрос об их сносе и взяло их судьбу под свой контроль.

В подвалах Гоголя 23 не отключены сети горячей воды, вода льется в подвал, пар, вырываясь из подвальных окон, покрывает инеем стену дворового флигеля.

К чему приводит вода в подвале видно из истории дома по Владимирскому, 11 — он расселен уже около 8 лет, все это время на I-ом этаже били фонтаны из неотключенного водопровода, основание, на котором стоит дом, превратилось в жижу. Специалисты считают, что именно это и послужило причиной неравномерных осадок стен, развития трещин и разрушений (опять памятник).

Зам. начальника Октябрьского РЖУ В.В.Собираев в интервью телепередаче "Прошу внимания", на вопрос о том, насколько здание старится во время такого испытания, ответил, что здания иногда доходят до того, что их приходится сносить... Это ли не та же преступная халатность? А в некоторых случаях навязчивая последовательность в поступках тех, кто снимал кровлю (Гоголя 23 и др.) заставляет подозревать их во вполне осмысленных и направленных действиях, уж слишком все одно к одному.

Полное недоумение вызвала статья Андреевой "Никто не хотел разрушать", рассказывающая о "саморазрушении" здания на Плеханова, 36: строители, имея в руках заключение о неспособности дома вынести процедуру капитального ремонта (так как мы его сейчас делаем) делали как раз то, что с неизбежностью должно было привести к этому разрушению. Даже если поверить в то, что они действительно не хотели разрушать дом, т.е. в умысле, то не преступная ли это халатность? Правда трудно в это поверить — ведь тогда получается, что на протяжении нескольких лет они должны были каждый день снова и снова совершать действия, квалифицируемые как преступная халатность, должны были полным ходом идти именно к этому результату, будучи осведомленными и предупрежденными не один раз. В такое можно поверить

только предположив, что все без исключения строители этого объекта и все их начальство все это время были неизбежно и нескончаемо пьяны. Скорее, ясно осознав, что они не в состоянии провести строительный эксперимент, который должны были проводить согласно решению исполкома, рабочие решились вести ремонт обычными методами. Если повезет и ничего не произойдет (что было менее всего вероятно), то слава богу, если нет — они уперлись бы в тупиковую ситуацию и никто бы не заикнулся уже ни о каком эксперименте. Но, видимо, несколько проскочили эту ситуацию. Никто не хотел разрушать? Во всяком случае, никто не хотел сохранить.

Результатом преступного деяния во всех рассматриваемых случаях является неоправданное уничтожение материальных и культурных ценностей. Это может быть и уничтожение дома (Разночинная, Плеханова), и уничтожение каких-либо ценных его компонентов: интерьеров, деталей интерьеров.

В домах: Биржевой, 1 (дом Куинджи), Съездовская линия, 9, 5 линия 34 и многих других, еще до ремонта целенаправленным образом уничтожены литые ограждения лестничных маршей — их именно уничтожали, разбивая в куски — все, сколько было.

В доме Куинджи мастерская художника, привлекавшая такое внимание общественности, должна была быть уничтожена, но в результате общественной активности появилось решение ее сохранить. Однако конструкции мансарды деревянные, и степень реальности этого решения зависит от сохранности древесины. Пока дом жил своей обычной жизнью, в нем был оптимальный для сохранения конструкции микроклимат. Реконструкция, которая произошла после расселения дома, провоцирует на ускоренное старение древесины.

Экспертиза, призванная оценить состояние конструкций, должна быть ближе к весне или даже к лету...

Вопрос о сохранении мансарды был решен положительно еще прошлой весной. Весь теплый сезон — самый благоприятный для конкретных шагов по ее спасению, несмотря на имеющуюся документацию, произошел в волоките и бог знает в чем. Пришли дожди, затем зима — не сделано ничего: со стороны набережной — окна застеклены, кровля цела, со стороны двора открыто все, снег лежит прямо в мастерской, обшивка во многих местах снята, деревянные конструкции оголены, на полу след от кострища. Кто теперь разберет, если экспертиза даст отрицательный ответ, была ли древесина плоха уже до расселения или стала таковой. Формально, здесь халатность, но бригадир, конечно же недовольный свалившейся на него ценностью,

то ли в шутку, то ли всерьез говорил архитектору проекта сохранения: проект проектом, а мы сделаем так, что к весне и спасать нечего будет. К сожалению, это факт недоказуемый.

Или другой случай — Маклина, 7. Этот дом дал трещину из-за построенного рядом большого жилого дома, который просел и спровоцировал неравномерную посадку дома № 7. Это был дом тонкой, изысканной архитектуры. Наиболее насыщенным архитектурными деталями был его 2-й этаж, а всего их было три. Сейчас дом надстроили, перебрали разрушившуюся часть. Когда на объект пришли фасадчики, они увидели половину дома без архитектурных деталей, им предстояло восстановить их симметрично сохранившимся на другой части. Композиция дома, в частности, заключалась в том, что два крайних окна второго этажа были решены в более сложном, более интенсивном обрамлении, чем окна средней части. Так вот..., чтобы не возиться с этой сложностью, обрамление на сохранившейся части фасада просто срубили и заменили таким же, как в средней. Внешне получился дом как дом, хотя никоим образом не напоминает тот, который был прежде. Это не единственный случай, а, видимо, известный способ решения проблем.

Так или иначе, но часто приходится слышать о том, что строители ради упрощения своей задачи отходят от проекта. Ярче всего это иллюстрирует одна давняя история: при ремонте дома по Лермонтовскому, 30. В этом доме жила знаменитая балерина императорского театра. При ее жилых помещениях были и классы. Все это имело богатейшие интерьеры, которые следовало сохранить. Проект предусматривал их сохранение. Строители, как ни отнекивались, все же приняли проект в работу, но однажды этажом выше оставили на ночь открытым шланг с водой. К утру весь интерьер опал.

Примеров, раскрывающих способы уничтожения ценностей, наверное, можно было бы привести — ну, например, исчезновение кованых и литых деталей балконных ограждений, виньеток и т.д. Свежий пример: кан. Грибоедова, 95, (исчезновение полотен и навесных ворот 1961 года изготовления. Никакого учета этим деталям нет, сам факт исчезновения никого не волнует.

Хочу вернуться к тому, о чем уже говорил. Вот те же дома со снятыми крышами, выбитыми окнами, с внутренними водопадами водопроводной воды, с ледяными сталактитами и сталагмитами. Когда наконец приходят строители, они спокойно, как ни в чем не бывало ремонтируют дом, сдают его. Но стресс, который перенесли

конструкции дома во время ожидания ремонта, не проходит бесследно: дом теряет запас прочности и тот момент, когда конструкции придут к состоянию полной физической дегградации, просто наступит раньше — об этом не думает никто; хотя нормативные документы предписывают заботу о долголетию дома.

Точно так же свою лепту в процессе незаметного разрушения эксплуатируемых зданий вносят затопленные подвалы, поднимающийся культурный слой, неисправная сантехника. Этот незримый процесс, пожалуй, самый страшный, из-за его незаметности и пространенности. А масштабы его просто огромны, мы ежесекундно несем колоссальные неоправданные потери.

Есть и еще один вид уничтожения — неправильно принятые решения химический состав красок, которыми теперь красят дома в отличие от традиционных известковых позволяет проводить работы в зимнее время, но он вреден для штукатурного слоя, для лепнины, которая с течением времени превращается в труху. Но это обстоятельство не может испортить картину выполнения плана. К таким же глобальным ошибкам относится и технология ККР с крупной механизацией и индустриальностью. Проектные ошибки — та же Разночинная: новый корпус можно было построить не вдоль В.Разночинной, а вдоль М. Разночинной, пожертвовав всего лишь одним сараем из силикатного кирпича, сохранив дома № 14 и № 16. Правда, тогда заводу пришлось бы исходить только из своей территории, теперь он расширил ее за счет территории домов № 14 и 16.

Приведенные примеры разрушения городовой ткани (их могло бы быть во много раз больше) иллюстрируют (не только) общую картину плачевного состояния дел в области исторической и культурной архитектуры, но и небрежение к предметам материальным. Дрозия наших взаимоотношений с миром вещей распространилась слишком широко и глубоко: самая острая наша проблема — жилищная, а мы относимся к своему жилому фонду, как к салфеткам, которые; единожды использовав, выбрасываем.

Создание и сохранение культурных и материальных ценностей — результат человеческой деятельности, во многом обусловленный экономическими взаимоотношениями людей, которые в свою очередь обусловлены всем хозяйственно-экономическим механизмом страны. Бессмысленно принимать меры по каждому отдельному случаю безобразия, когда само безобразие самым естественным образом вытекает из существующей экономической машины. Что такое архитектура как отрасль человеческой деятельности? Как строятся те человеческие взаимоотношения, результатом которых является архитекту-

ра? Эти вопросы имеют самое прямое отношение к строительству общественного института нашей архитектуры. На сегодняшний день его нет, и о том, что его надо строить немедленно, надеюсь, говорит все изложенное выше.

Библиотека для чтения?

Книга - твой лучший товарищ.
/плакат в библиотеке/

Не так давно в одной районной библиотеке я подбирал литературу о полярных исследованиях. Попросил помочь библиотекаря. На одной из полок мы одновременно увидели книгу, составленную из дневников участников экспедиции Г.Седова. Моя помощница сняла книгу с полки. "Сорокового года... ой... и двадцать страниц предисловия... здесь и Сталин упоминается... как же мы ее пропустили?..." - листая, бормотала она. Я сказал, что хочу посмотреть это издание. "Нет, - ответила библиотекарь, - подобные книги подлежат списыванию, а эту мы пропустили". И прижала книгу к груди. "Раз вы все равно собираетесь ее списывать, так хотя бы дайте прочесть," - попросил я. Девушка колебалась, и, как пишут в романах, на лице ее отразилась внутренняя борьба... Но все же книгу я больше не увидел, как не увидят ее, я думаю, и другие читатели этой библиотеки.

Этот случай заставил меня заинтересоваться порядком списания библиотечных книг. Среди моих знакомых немало людей, так или иначе связанных с библиотечной работой. Все они охотно делились со мной той информацией, которой располагали, и все не пожелали, чтобы их имена упоминались. Причина - боязнь служебных неприятностей. Моих собеседников, как и меня, серьезно беспокоит создавшаяся ситуация. Некоторые из них сами участвовали в списании и уничтожении книг и вспоминали об этом с чувством омерзения. Я узнал, например, что долгое время в Публичной библиотеке им. М.Е.Салтыкова-Щедрина существовала /а скорее всего, существует и сейчас/ специальная машина, прозванная "мясорубкой". Не правда ли, замечательное название? В некоторых библиотеках книги периодически сжигаются. Моя надежда на то, что уничтожается литература, лишенная какой-либо ценности, была встречена грустной иронией. Тогда я решил обратиться к документу, регламентирующему этот отбор. Должны же существовать какие-то правила! Приведу выдержки из ныне действующей "Инструкции о порядке исключения устаревших по содержанию и ветхих изданий и материалов из библиотечных и справочно-информационных фондов", утвержденной приказом по Министерству культуры СССР от 18 июля 1978 года.

В пункте 1.3 сказано, что право производить исключение устаревших изданий и материалов, а также и **ОСТАВЛЯТЬ** их в фондах библиотеки в **СООТВЕТСТВИИ** С ЕЕ **ПРОФИЛЕМ** предоставлено

директорам и заведующим библиотек. Таким образом, если директор или заведующий — люди ответственные, то вроде бы проблемы и не возникнет, однако приписка "в соответствии с ее профилем" значительно связывает им руки. Во всяком случае, для исключения книги предоставляются более широкие возможности, чем для ее сохранения. Следует учитывать, что это касается в первую очередь специализированных библиотек.

Теперь обратимся к тем критериям, которые служат для отбора и исключения книг.

Пункт 2.1:

"Устаревшими по содержанию считаются издания и материалы, утратившие свою политическую актуальность, научную и производственную ценность".

Удивительно! Ни слова о художественной ценности; кроме того, издание политическое может утратить свою политическую актуальность, но приобрести историческую ценность. Разве сохранение таких книг не являлось бы напоминанием и предостережением в будущем пути? Или знать прошлое нужно не всем?

В примечании сказано, что устарелость издания определяется путем внимательного ознакомления с его содержанием. Немаловажное дополнение.

Есть также примечания и сноски о том, что библиотеки могут сохранять периодические издания на сроки более длительные, чем предусмотренные инструкцией; а также отдельные наиболее ценные из них экземпляры. Просто отрадно прочесть.

При чтении пунктов 2.4 и 2.5 создается впечатление, что они противоречат сами себе и изложенному выше. Например, исключению из библиотечных фондов подлежат книги, брошюры, журналы, газеты, напечатанные шрифтами, вышедшими из употребления; и здесь же — существенное дополнение: "За исключением изданий, представляющих научную и историческую ценность". Возникает вопрос: как понимать последнее, в узком или широком смысле? По-видимому, речь идет в основном об изданиях, вышедших до Октябрьской революции, а раз так, то большинство таких книг имеет несомненную историческую ценность. Более логичным представлялось бы регламентировать сохранение таких книг.

Пункт 2.5 очевидно противоречит тем пунктам, в которых говорилось об исключении устаревшей по содержанию политической литературы. Здесь указывается, что запрещается исключать из библиотечных фондов как устаревшие издания основоположников марксизма-ленинизма, доклады, речи, выступления руководителей партии и правительства, стенографические отчеты

съездов и конференций КПСС, ВЛКСМ, собрания законов союзных республик и т.д. А также произведения классиков художественной литературы вне зависимости от времени их издания. Ура! Такое впечатление, что инструкцию писали совершенно разные люди. Правда, неясно, кого считать классиком.

И, наконец, последний раздел: о порядке отбора и списания литературы. Предусматривается в нем и отчетность, и документация. Настораживает только пункт 3.17, в котором сказано, что "исключенные по актам устаревшие и ветхие издания в обязательном порядке сдаются местным заготовительным организациям и не могут быть переданы другим библиотекам, организациям или частным лицам".

Данная инструкция вызывает весьма противоречивые чувства. По одному пункту какая-то книга может быть сохранена и с такой же легкостью исключена по другому. Кроме того, эта инструкция не единственная. В тексте упоминаются многие другие...

И мне так и осталось непонятно, на основании какого пункта исчезла из библиотек, скажем, книга В. Некрасова "В окопах Сталинграда". Ветхое издание? Издание, не имеющее художественной ценности? Ни для кого не секрет, что книги авторов, покинувших Советский Союз, моментально исчезали из библиотек. Сколько же прекрасных книг мы потеряли таким образом за последние десятилетия, причем книг изданных, "разрешенных цензурой".

Все стадии уничтожения более-менее понятны. В Горлит приходит распоряжение /откуда - гадать не будем/. Горлит рассылает по библиотекам официальную бумагу: список авторов, чьи книги подлежат изъятию. Дальше все просто. Книги с полок изымаются, связываются в пачку, и с этой пачкой и с отращиванием ко всему миру в сердце библиотекарь отправляется на Народную улицу, дом 1. Там - центр по переработке макулатуры. Там он должен самолично разорвать книгу в клочки /буквально/, получить подпись Главного Пожарного /простите, ответственного за прием макулатуры/ и проводить взглядом уплывающие в бункер листы.

Процедура очень противная, потому что противоестественная.

Перемены последних лет позволяют надеяться, что эта грустная ~~инициатива~~ ситуация станет историческим анекдотом.

Но остается другое. Согласно инструкции, вся периодика в специализированных библиотеках списывается через три-пять /максимум/ лет. Директор может оставить наиболее ценное, но оставить, вместе с тем, не может - нет площади. Передать дру-

гой библиотеке? Нельзя/см. пункт 3.17/, кроме того, там то же самое. В розничную продажу - нельзя. А ведь у меня и у вас представления о художественной ценности той или иной вещи в толстом журнале могут и не совпадать с мнением директора... Где вы, букинистические развалы? Годовые подшивки "Нового мира", "Невы", "Знамени" - под нож, в макулатуру, в котел с будущей бумажной массой!

Конечно, на все вышеизложенное можно возразить. Например: -Библиотеки перегружены старым хламом, из-за которого невозможно разместить новые поступления; вечная теснота, пожаро-опасность, ветхое состояние старых книг, многие из которых вовсе не пользуются спросом. В стране не хватает бумаги. Мы не имеем возможности издать самой необходимой литературы. И, в конце концов, существуют публичные библиотеки и специальные фонды.

Но, право же, уничтожение - не способ решения проблемы. А площадей нет тоже по вполне понятным причинам: в библиотеку Консерватории, например, от всего числа новых поступлений 60% составляет общественно-политическая литература.

Последствия силовых методов в идеологии не так очевидны, как в экономике, но не менее пагубны.

Недавно в Публичной библиотеке я наткнулся на любопытный документ. Простой крестьянин из-под Киева, передавая на хранение в монастырь Евангелие, делает по этому поводу запись: "Передаю на хранение книгу во искупление грехов своих и своих родственников, пусть хранится надежно, дабы не попала она в руки корыстные и сохранялась в этом монастыре на вечные времена". Произошло это в XVI веке. И случай этот далеко не единственный. А кому уже в наше время не приходилось сдавать книги для различных библиотек. Многие из библиотек, существующих сейчас, обязаны своим возникновением частным коллекциям или коллективным усилиям многих людей. Как отнеслись бы они к той самой инструкции?!

Конечно, ничто не вечно. Рано или поздно стареет и книга. Книга как предмет. И раз это неизбежно, то насколько бережнее нужно к ней относиться, ведь не каждый имеет возможность посещать Публичную библиотеку. Да и там не ко всем книгам есть доступ. Во-первых, читательские каталоги гораздо "беднее" служебных; а во-вторых, книгу могут просто не выдать: "не по специальности", "в переплете", "на МБА" /часто это просто отписки/. Кроме того, спецхран, для проникновения в который требуется ходатайство с места работы. Неужели ценная и важная

информация - удел избранных? А для всех остальных - районная библиотека после очередного списания книг? Увы, возразит кто-то, реальные возможности крупных библиотек весьма ограничены. Но не странно ли тогда, что доступные мелкие библиотеки не стараются хоть в чем-то приблизиться к ним? Или главная причина не в этом? Закрытый и полужакрытый доступ гарантирует какую-то тайну? От кого?

Известно издавна: бумага стерпит все: и клевету, и донос, и заблуждение, и лезть. Научить отличать хорошее от плохого, истинное от ложного поможет свободный доступ к информации для всех без исключения людей. Это важнейшее условие демократии. Любой вымысел легко распространяется там, где нет истинного знания.

Книга - культурная ценность народа. Должны быть приняты все меры для наилучшей сохранности книг во всех библиотеках нашей страны. Факт списания книги должен стать мерой исключительной, чтобы не исчезали с полок нужные старые и нестарые книги по соображениям, далеким от науки и искусства. Закрытие и полужакрытые фонды должны быть упразднены. Я надеюсь, что уже в ближайшее время будут приняты меры для исправления сложившегося ненормального положения.

Статья уже была готова, когда трагические события в БАНе и многочисленные публикации по этому поводу еще раз привлекли внимание общественности к состоянию библиотечного дела в нашей стране.

В гостях у журнала "Сумерки" Совет по экологии
культуры

Публикуемые нами документы были приняты на совместном заседании группы "Спасение" (Ленинград), "Талака" (Минск), "Демократическая перестройка" (Москва). С обращением ознакомились и полностью согласились следующие неформальные организации СССР: "Вахта мира" — Москва, Ленинград, Киев, Куйбышев, Одесса, Жуковский; ВСОЖ (Федерация социалистических общественных клубов) — Москва, Ленинград.

Мы надеемся, что те читатели журнала "Сумерки", кого интересует эта проблема, напишут по указанному ниже адресу.

По поручению Совета ЭК

С.Шейнин

КО ВСЕМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

На сегодняшний день более чем в двадцати городах нашей страны: в Ленинграде, Москве, Риге, Таллине, Вильнюсе, Уфе, Казани, Краснодаре, — везде, где сколь-нибудь заметными становятся публичные выступления народных масс, приняты "Временные правила..."*

Согласно этим правилам, для организации публичного собрания необходимо обратиться с заявлением в местный исполком, который может разрешить либо запретить мероприятие, определив его "целесообразность", соответствие нормам социалистического общежития и т.д. Несмотря на то, что во всех этих правилах исполкомам предписывается решить вопрос о разрешении максимально корректно, исполнительный орган оказывается абсолютно бесконтрольным, абсолютно свободным в выборе решения, что уже показала практика нашего общественного движения. Без всяких оснований запрещается большинство заявленных мероприятий. Более того, если до введения "Временных правил" человека, проводящего массовое мероприятие, нельзя было привлечь к ответственности, если он не нарушил при этом советских законов, то теперь милиция и суд вправе воспользоваться статьей 165 Административного кодекса РСФСР и аналогичными статьями в кодексах союзных республик, чтобы привлечь организаторов к ответственности только лишь за отказ прекратить манифестацию. Требования милиции становятся законными, а это значит, что за их невыполнение людям грозит либо арест до 15 суток, либо штраф, либо исправительные работы до 2-х месяцев. В тюрьму попадают люди, которые ничего противозаконного не совершили. Так как в правилах невозможно определить признаки "Массового мероприятия", любую группу лиц более 3-х можно разогнать как несанкционированное массовое мероприятие, а за отказ привлечь по вышеописанной статье.

Практика показала, что наибольшую выгоду из введенных временных правил извлекают две категории лиц. Во-первых,

✱

См. Приложение.

это сотрудники исполнительных органов, которые теперь могут запретить мероприятие, направленное против их незаконных действий. Во-вторых, это представители т.н. диссидентского движения, заинтересованные^{не} в конструктивном решении вопроса, а в создании политической шумихи вокруг незаконных действий властей. Абсурдность и аморальность разрешительного проведения демонстраций очевидна всему миру, и провокации теперь устраивать стало легче, чем когда бы то ни было. Достаточно выйти с плакатом на улицу и позвать западного корреспондента.

Согласно Конституции СССР, местные исполнительные органы не имеют права толковать непосредственно ее статьи без наличия общесоюзного Закона. Оценивая заранее вредность либо полезность того или иного массового мероприятия, представители исполнительной власти заывают о презумпции невиновности, о том, что нельзя человека обвинить в противозаконном действии, прежде чем это решит суд и уж тем более, прежде, чем человек это совершил. В 1913 году подобный законопроект был внесен кадетами в 4-ю Государственную Думу. Ленин по этому поводу писал: "Как раз в городах, например, о публичных собраниях объявляют в газетах... К чему же идиотская волокита заявлений?... Все это описано из европейских контрреволюционных законов, все это пропахло эпохами недоверия к демократии, все это безбожно устарело..." (В.И. Ленин, ПСС, т.23, с.36-37).

"Временные правила..." отрезали наши организации от народа, тем более они не позволяют ощутить, что они обладают демократическими правами свободы и слова и собраний. Они утверждают произвол исполнительной власти, беззаконие. Терпеть это больше невозможно.

Центральные органы до сих пор не вынесли на всенародное обсуждение проект Всесоюзного закона о проведении массовых мероприятий. По нашему мнению, такой законодательный акт должен обязать местные власти предоставлять возможность проведения любых массовых мероприятий гражданам (предоставить охрану, площадку), в случае, если организаторы уведомят исполком о своем намерении, например, за 3 дня. Никаких запрещений заранее быть не должно. В случае, если при

проведении мероприятия нарушаются советские законы, нарушителей нужно привлечь в соответствии с действующим законодательством. Должно быть введено уголовное наказание за воспрепятствование гражданам осуществлять свое право на собрание. Это право должно быть защищено статьей Уголовного Кодекса.

Мы приняли решение развернуть всесоюзную кампанию по обсуждению "Временных правил..." и основ будущего Закона о собраниях. Мы объявляем период с 12 по 20 марта всесоюзными "Днями борьбы за справедливый Закон о собраниях". Эта кампания будет проходить совместно с общественным обсуждением Закона об общественных организациях под общим лозунгом "Демократия - не вседозволенность исполнительной власти!".

В рамках всесоюзной кампании мы предлагаем всем общественным организациям Советского Союза выразить свое отношение к правам на собрания и на создание общественных организаций в любой приемлемой для них форме, будь то митинг, будь то обсуждение, будь то разработка законопроектов. Свои требования мы просим направлять в центральные и местные органы советской власти, в редакции центральных газет, прокуратуру СССР.

Для координации общественных действий за справедливый Закон о собраниях мы просим информацию о ваших действиях, копии обращений, законодательных предложений, мнения специалистов передавать по адресу:

191011, Ленинград, ул.Толмачева, д.18/37, кв.15
Ковалеву Алексею Анатольевичу

Обращение принято на встрече в Ленинграде 27 февраля
1988 г.

Утверждены решением
Исполкома Ленсовета
от 18.05.87 № 376

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, ШЕСТВИЙ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА УЛИЦАХ,
ПЛОЩАДЯХ, ПРОСПЕКТАХ, В ПАРКАХ, САДАХ И СКВЕРАХ ЛЕНИНГРАДА

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила определяют порядок проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и иных массовых мероприятий на улицах, площадях, проспектах, в парках, садах и скверах Ленинграда.

1.2. Провоцимые собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные массовые мероприятия не должны нарушать требований советских законов, направленных на обеспечение государственной безопасности и общественного порядка, охрану прав и законных интересов граждан, соблюдение правил социалистического общежития, норм морали и нравственности.

1.3. Правила являются обязательными для администрации государственных предприятий, учреждений и организаций, руководителей и членов массовых общественных организаций, добровольных обществ, творческих союзов, любительских объединений, кооперативов, клубов, секций и т.п., отдельных граждан.

2. Порядок выдачи разрешения

2.1. Разрешение на проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и иных массовых мероприятий выдается исполкомом местных Советов, как правило, в письменной форме.

При проведении мероприятия на территории двух и более районов разрешение выдается Исполкомом Ленсовета.

2.2. За разрешением могут обращаться администрация государственных предприятий, учреждений и организаций, руководители общественных и кооперативных организаций, любительских объединений, клубов, секций и т.п., отдельные граждане.

2.3. Заявление о разрешении на проведение мероприятия подается в письменной форме и должно содержать:

2.3.1. Точное наименование органа государственной, общественной, кооперативной организации, любительского объединения, клуба, секции и т.п.

2.3.2. Цель. Форму. Место и время проведения мероприятия.

2.3.3. Примерное количество участников.

2.3.4. Подписи уполномоченных лиц и дату подачи заявления.

В случае подачи заявления отдельным лицом в дополнение к п.2.3.2 и 2.3.4 указывается фамилия, имя, отчество (полностью), год и место рождения, место жительства и работы.

2.4. Заявление подается в соответствующий исполком местного Совета не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты мероприятия и рассматривается им в трехдневный срок.

2.5. В случае положительного решения исполком местного Совета принимает необходимые меры по обеспечению условий проведения мероприятия.

2.6. Разрешение на проведение мероприятия действительно лишь при соблюдении указанных в нем даты, времени и места проведения.

3. Порядок обжалования отказа в выдаче разрешения

3.1. Отказ должен иметь, как правило, письменную форму и содержать мотивы, порядок и сроки обжалования.

3.2. Отказ может быть обжалован в десятидневный срок в соответствующем вышестоящем органе.

Лица, допустившие правонарушения в период подготовки и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных массовых мероприятий, несут ответственность на основании действующего законодательства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ проведения Всесоюзной кампании "За справедливый закон о собраниях"

По нашему замыслу Всесоюзная кампания должна начаться "неделей активных действий" с 12 по 20 марта. В связи с тем, что Закон о собраниях уже практически разработан и в скором времени должен быть принят, мы просим уже в ходе этой "недели" предпринять самые активные действия. Впоследствии мы надеемся провести еще ряд таких "недель", а также отдельные дни согласованных всесоюзных акций. Наиболее радикальными из них будут подача заявлений на проведение массовой акции против "Временных правил..." исполкомов, а также организации несанкционированных выступлений такого рода в максимально конструктивном духе. Первую такую акцию мы планируем провести 13 марта. Было бы удачно, если бы вы провели свой митинг в тот же день. Остальные действия могут заключаться в следующем.

1. Организация публичных обсуждений с резолюцией, направляемой в Верховный Совет СССР, центральную прессу и к нам.
2. Сбор мнений юристов по данному вопросу в письменном виде, для дальнейшего использования при проведении пресс-конференций и т.п.
3. Сбор материалов о случаях запрещения митингов и демонстраций.
4. Выступления в любой аудитории, на любых мероприятиях, где есть для этого возможность, с рассказом о начавшейся кампании и объяснением принципов свободы собраний.
5. Направление ведущим партийным деятелям, секретарям ОК, членам Политбюро текстов статьи В.И.Ленина "Кадетский законопроект о собраниях" 1913 г. (ПСС, т.23, с.36) с предложением присоединиться к мнению Владимира Ильича по этому вопросу.
6. Организация передвижных информационных постов (1-2 чел.), на которые не распространяются "Временные правила...", с организацией сбора подписей. Возможно одновременное проведение этой акции в нескольких районах города

("рассеянная демонстрация"). Помните, ваши действия законны. Не следует отдавать документы в случае задержания. Отказывайтесь от протокола, пишите жалобу Прокурору СССР.

7. Направление Прокурору СССР протестов против введения "Временных правил..." на основании высказывания юристов в журнале "Коммунист" № 2, 1988 г. См. также передовую статью в "Известиях" от 28 февраля с.г.

8. Разработка проектов Закона о собраниях на справедливой основе.

9. Важнейшей агитационной акцией будет создание "Союза борьбы за справедливый Закон о собраниях", на федеральных началах, с проведением съезда этого союза в конце мая с.г. Желющие вступить в этот союз вместе с нами могут обратиться по адресу, куда мы просим также отправлять подробную информацию о ваших действиях: 191011, Ленинград, ул.Толмачева, 18/37, кв.15, Ковалеву Алексею Анатольевичу, руководителю Группы спасения памятников Ленинграда.

Помните! Мы выступаем за законность! Не дайте обвинить вас в анархии и подстрекательстве. Рассмлайте полученное вами обращение всем, кому сочтете нужным!

ИНФОРМАЦИЯ

13 марта. Ленинград. Михайловский сад. Митинг в рамках "Недели действий за справедливый Закон о собраниях". Присутствует человек 200-250. Выступали представители объединений и групп "Спасение", "Доверие", "Перестройка", "Англетер". К борьбе с бюрократизмом и ленинградскими столоначальниками призывают почти все.

Просканцированы антибюрократические, очень "маяковские" стихи. Временные правила Ленгорисполкома от 25.05.1987 признаны образчиком чиновного хамства, полностью не соответствующим времени. Лозунги: "Временные - время прошло", "Временные правила или демократия".

С огромным белым транспарантом пришли еврейские активисты. Их не много, человек десять. Они заявляют о необходимости немедленного освобождения из заключения 3 "Отказников", задержанных около недели назад во время демонстрации за их выезд. Слушали их холодно, но спокойно.

Было сообщено: не разрешена демонстрация, посвященная памяти жертв февральской революции. Ни один из 6-ти предложенных маршрутов не признан удобным. Марсово поле тоже было "закрыто" (Альтернатива - зал ДК Ильича?)

На импровизированную трибуну пробился растерянный представитель обкома ВЛКСМ, который громко защищал официальную точку зрения на проблему проведения митингов и демонстраций. Группа "Мемориал" вела сбор подписей под обращением в Политбюро и лично М.С.Горбачеву о необходимости скорейшего открытия памятника жертвам сталинизма. Многие охотно подписывали. Публика, надо сказать, своеобразная: и приглашенные, и узнавшие косвенно, прохожие, женщины с колясками...

"Спасение" распространяло машинописно размноженную работу Ленина "Кадетский законопроект о собраниях", где, как известно, говорится: "Необходим закон, что ^{бы} потребовалось, скажем, известного небольшого числа граждан все общественные здания, школы и т.п. по вечерам и в свободные часы вообще должны быть бесплатно и беспрепятственно предоставляемы народу под собрания". 75 лет прошло. В Михайловском

саду телевидение снимает фильм о борьбе за демократию. Но когда появится сама "Прекрасная Дама"?

Б.Владимиров,
сотрудник редакции журнала
"Сумерки"

Р.С. По завершении митинга некто, собрав вокруг себя человек 50, призывал "остановить кровавый террор", обвиняя КПСС(?) и лично М.С.Горбачева в гибели пассажиров и стюардессы рейса Иркутск-Курган-Ленинград. "Летели бы в Лондон - люди были бы живы".

18.40. Подъехал милицейский газик. После требований разойтись, подкрепленных увещеваниями подполковника милиции, павильон Росси стал тих и безлюден.

От редакции:

Журнальная борьба обостряется. Возникают неизбежные казусы. В двух журналах печатался ахматовский "Реквием", два журнала одновременно публиковали роман Кафки "Замок".

Вот и еще одно, совсем свежее свидетельство: "Новый мир" в борьбе за подписчиков поступился основными принципами элементарной журналистской этики: внезапно, без предварительного уведомления, в четвертом номере журнала за этот год была напечатана "Старуха" Д.Хармса. Редакция "Сумерек" об этом, к сожалению, извещена не была.

Пусть этот неэтичный ход останется на совести С.Залыгина!

ПОВЕСТЬ ДАНИИЛА ХАРМСА "СТАРУХА"

Почти у каждого писателя существуют произведения, выбивающиеся из понятия того, что мы называем индивидуальным стилем. "Индивидуальный стиль" есть то, что позволяет нам создавать некий облик писателя или поэта, узнавать по нескольким строчкам автора. Поэтому те, кто составил себе впечатление о творческой манере Хармса по его стихам, небольшим сценкам, рассказам, по циклу "Случай", наконец – по незаконченной "Комедии города Петербурга", несомненно увидят нового Хармса. Ибо "Старуха" и есть то произведение, которое по своим художественным особенностям значительно отстоит от уже сложившегося стереотипа восприятия писателя.

"Старуха" была написана в 1939 году, когда цикл "Случай" уже почти был завершен. Наступало время нового этапа осмысления жизни, Бога, мира. По мере приближения к сороковым годам у Хармса в драматургии, а особенно в прозе, которая занимает уже главенствующее положение в его творчестве, все сильнее проявляется тенденция к сюжетности, к уменьшению "удельного веса" алогизма как художественного приема. Здесь вполне уместно вспомнить творческую эволюцию одного из прежних соратников Хармса – Заболоцкого: от "Столбцов" к стихам 50-х годов. Но Хармса в 50-е годы уже не было, он умер в феврале 1942 года в блокадном Ленинграде, в психиатрической больнице, и о том, к чему бы он пришел, можно только догадываться.

Уже эпиграф к повести отсылает нас к одному из самых любимых Хармсом писателей – К. Гамсуну. Влияние Гамсуна, его поэтики на художественный строй "Старухи" несомненно, особенно, видимо, на Хармса повлиял роман "Голод". Но и до "Старухи" в творчестве Хармса можно найти произведения, близкие Гамсуну. Вот отрывок из одного из самых ранних рассказов Хармса "Утро" (1931 г.):

"Да, сегодня я видел сон о собаке.

Она лизала камень, а потом побежала к реке и стала смотреть в воду.

Она там видела что-нибудь?

Зачем она смотрит в воду?

Я закурил папиросу. Осталось еще только две.

Я выкурю их и больше у меня нет.

И денег нет.

Где я буду сегодня обедать?

...

... Можно занять десятку у профессора. Но профессор, пожалуй, скажет: "Помилуйте, я вам должен, а вы занимаете. Но сейчас у меня нет десяти. Я могу дать вам только три". Или нет, профессор скажет: "У меня сейчас нет ни копейки". Или нет, профессор скажет не так, а так: "Вот вам рубль и больше я вам ничего не дам. Ступайте и купите себе спичек". (ГПБ, ф. 1232, № 222).

Таким образом, мы видим, как писатель осуществляет объективные построения внутри собственного сознания. Профессор, который, кстати, так больше в рассказе не появится, выступает как полноценный персонаж и с ним ведется диалог! В "Голоде" постоянно происходит то же самое, но это не открытие Гамсуна. Чье же?

"Сознание творца полифонического романа постоянно присутствует в этом романе и в высшей степени активно в нем. Но функция этого сознания и формы его активности другие, чем в монологическом романе: авторское сознание не превращает другие чужие сознания (то есть сознания героев) в объекты и не дает им заочных завершающих определений. Оно чувствует рядом с собой и перед собой равноправные чужие сознания, такие же бесконечные и незавершенные, как и оно само. Оно отражает и воссоздает не мир объектов, а именно эти чужие сознания с их мирами, воссоздает в их подлинной незавершенности (ведь именно в ней их сущность)". (М.Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, М., 1979, с. 79-80).

Достоевский! И ведь именно его Гамсун называл своим учителем. "Никто, - писал он, - не разобрал глубже, чем он (Достоевский - А.К.) сложных явлений человеческой души... Чтобы определить его высоту, нам не хватит мер. Он стоит особняком". (М.Благовещенская, А.Измайлов. Кнут Гамсун, СПб, "Шиповник", 1910, с. 106-107).

Есть изумительный момент в "Старухе": герой, положив мертвую старуху в чемодан, едет за город, чтобы от нее избавиться. По дороге он упускает случайно увиденную им "милую дамочку" и, уставший, садится на чемодан отдохнуть:

"Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально посмотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. Дикая злоба душила меня. Ах, напустить бы на них столбняк!

И вот, из-за этих паршивых мальчишек, я встаю, поднимаю чемодан, подхожу к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивленное лицо, достаю часы, и пожимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают

за мной. Я еще раз пожимаю плечами и заглядываю в подворотню.

— Странно, — говорю я вслух, беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке".

Герой в своем сознании ведет диалог этими мальчишками, но этот диалог даже не выражен на вербальном уровне! Он происходит подсознательно, еще более усиливая ощущение полифонии.

Но в рамках этой традиции полифонического романа Хармс остается Хармсом. Тема чуда возникает с первых страниц повести: "Чудотворец был высокого роста". Но рассказ не будет дописан, и чудо литературы умрет. Если в "Случаях" чудо еще выступает как безусловный и единственный фактор, противостоящий пошлости и обывальщине, то, начиная со "Старухи", чудо уже воспринимается неоднозначно (труп старухи в комнате героя, который вызывает у того состояния, близкое к помешательству, невозможность отличить бред, фантазию от действительности), а в произведениях 1940-41 гг. и как элемент обывательского мира (рассказ "Власть")

Повесть во многом автобиографична. В ней описана Надеждинская (ныне — Маяковская) улица, на которой жил Хармс. Прообразом Сакердона Михайловича стал близкий друг Хармса Николай Макарович Олейников, расстрелянный в 1938 году.

Ирония и юмор, трагедия и страх — равноправные жильцы этого дома — повести "Старуха". Но через все проходит проблема бытия и присутствия Бога. Герой задает этот вопрос ("Верите ли вы в Бога") "милой дамочке", Сакердону Михайловичу, причем, ответ Сакердона Михайловича заставляет нас вспомнить Достоевского ("Братья Карамазовы"). Для него же самого решение вопроса "связано" на мертвой старухе, которую ему Бог ниспослал как испытание. Как решается он в итоге? неизвестно. И решается ли вообще?

А. Кейт

... И между нами происходит
следующий разговор.

К. Гамсун

На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее:

— Который час?

— Посмотрите, — говорит старуха. Я смотрю и вижу, что на часах нету стрелок.

— Тут нету стрелок, — говорю я.

Старуха смотрит на циферблат и говорит мне:

— Сейчас без четверти три.

— Ах, так. Большое спасибо, — говорю я и ухожу.

Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду, не оглядываясь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, шурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадается навстречу Сакердон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся и долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице, и я приглашаю Сакердона Михайловича в подвалчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я дальше ^{иду} один.

Тут я вдруг вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печь. Мне очень досадно. Я поворачиваюсь и иду домой. Так хорошо начался день, и вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу.

Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана часы и вешаю их на гвоздик; потом запираю дверь на ключ и ложусь на кушетку. Буду лежать и постараюсь заснуть.

С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк и они все околевают.

Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня во дворе, и мне делается приятно, что на ее часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки.

Боже мой! Ведь я еще не выключил электрической печки! Я вскакиваю и выключаю ее, потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я закрываю глаза. Мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце, прямо на меня. Мне становится жарко. Я встаю и сажусь в кресло у окна.

Теперь мне хочется спать. Но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и, в конце концов, умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда.

Я сижу и от радости потираю руки. Сакердон Михайлович допнет от зависти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь. Скорее, скорее за работу! Долой всякий сон и лень! Я буду писать восемнадцать часов подряд!

От нетерпения я весь дрожу. Я не могу сообразить, что мне делать: мне нужно было взять перо и бумагу, а я хватал разные предметы, совсем не те, которые мне были нужны. Я бегал по комнате: от окна к столу, от стола к печке, от печки опять к столу, потом к дивану и опять к окну. Я задыхался от пламени, которое пылало в моей груди. Сейчас только пять часов. Впереди весь день, вечер, и вся ночь.

Я стою посередине комнаты. О чем я думал? Ведь уже двадцать минут шестого. Надо писать. Я подвигаю к окну столик и сажусь на него. Передо мной клетчатая бумага, в руке перо.

Мое сердце еще слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы немножко успокоиться. Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, яжмурюсь и трубку закуриваю.

Вот мимо окна пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идет человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой.

— Так, — говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу:

"Чудотворец был высокого роста".

Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю и иду к шкапчику, где хранится у меня провизия. Я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и

и больше ничего.

В дверь кто-то стучит.

— Кто-там?

Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивился и ничего не мог сказать.

— Вот я и пришла, — говорит старуха и входит в мою комнату.

Я стою у двери и не знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть? Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него.

— Закрой дверь и запири ее на ключ, — говорит мне старуха.

Я закрываю и запираю дверь.

— Встань на колени, — говорит старуха.

И я становлюсь на колени. Но тут я начинаю понимать все нелепость своего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моем любимом кресле? Почему я не выгнал эту старуху?

— Послушайте-ка, — говорю я, — какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да еще командовать мной? Я вовсе не хочу стоять на коленях.

— И не надо, — говорит старуха, — теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол.

Я тотчас исполнил приказание.

Я вижу перед собой правильно очерченные квадраты. Боль в плече и правом бедре заставляет меня изменить положение. Я лежал ничком, теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. Все члены мои затекли и плохо сгибаются. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Сознание и память медленно возвращаются ко мне. Я еще раз оглядываю комнату и вижу, что на кресле у окна будто сидит кто-то. В комнате не очень светло, потому что сейчас, должно быть белая ночь. Я пристально оглядываюсь. Господи! Неужели эта старуха все еще видит в моем кресле? Я вытягиваю шею и смотрю. Да, конечно, это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула.

Я поднимаюсь и, прихрамывая, подхожу к ней. Голова старухи опущена на грудь, руки висят по бокам кресла. Мне хочется схватить эту старуху и вытолкать ее за дверь.

— Послушайте, — говорю я, — вы находитесь в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти.

Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается все ясно: старуха умерла.

Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. Я теперь возись с этой падалью, иди разговаривать с дворником и управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть, она и не умерла? Я шупаю ее лоб, лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать?

Я закуриваю трубку и сажусь на кушетку. Безумная злость поднимается во мне.

— Вот сволочь, — говорю я вслух.

Мертвая старуха, как мешок, сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мертвую лошадь.

— Противная картина, — говорю я, но закрыть старуху газетой не могу, потому что мало ли, что может случиться под газетой.

За стеной слышно движение: это встает мой сосед, паровозный машинист. Еще того не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комнате сидит мертвая старуха! Я прислушиваюсь к шагам соседа. Чего от медлит? Уже половина шестого! Ему давно пора уходить. Боже мой! Он собирается пить чай! Я слышу, как за стенкой шумит примус. Ах поскорее ушел бы этот проклятый машинист!

Я забираюсь на кушетку с ногами и лежу. Проходит восемь минут, но чай у соседа еще не готов, и примус шумит. Я закрываю глаза и дремлю.

Мне снится, что сосед ушел, и я, вместе с ним, выхожу на лестницу и захлопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, и я не могу попасть обратно в квартиру. Надо звонить и будить остальных жильцов, а это уж совсем плохо. Я стою на площадке и думаю, что мне делать и вдруг вижу, что у меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки и вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, с другой — вилка.

— Вот, — говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле. — Вот видите, — говорю я ему, — какие у меня руки?

А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоящий Сакердон Михайлович, а глиняный.

Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на кушетке, а у окна, в кресле, сидит мертвая старуха.

Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое кресло, и дикая радость наполняет меня. Значит, это все был сон. Но только где же он начался? Входила ли старуха в мою комнату? Может быть, это тоже был сон? Я вернулся вчера домой, потому что забыл выключить электрическую печку. Но, может быть, и это

был сон? Во всяком случае, как хорошо, что у меня в комнате нет мертвой старухи, и, значит, не надо идти к управдому и возиться с покойником!

Однако, сколько же времени я спал? Я посмотрел на часы: половина десятого, должно быть утра.

Господи! Чего только не присниться во сне!

Я опустил ноги с кушетки, собираюсь встать, и вдруг увидел мертвую старуху, лежащую на полу за столом, возле кресла. Она лежала лицом вверх, и вставная челюсть, выскочив изо рта, впиалась один зубом старухе в ноздрю. Руки подвернули под туловище, и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстяных чулках.

— Сволочь! — крикнул я и, подбежав к старухе, ударил ее сапогом по подбородку.

Вставная челюсть отлетела в угол. Я хотел ударить старуху еще раз, но побоялся, чтобы на теле не остались знани, а то еще потом решат, что это я убил ее.

Я отошел от старухи, сел на кушетку и закурил трубку. Так прошло минут двадцать. Теперь мне стало ясно, что все равно дело передадут в уголовный розыск, и следственная бестолочь обвинит меня в убийстве. Положение выходит серьезное, а тут еще удар этот сапогом.

Я подошел к старухе, наклонился и стал рассматривать ее лицо. На подбородке было маленькое темное пятнышко. Нет, придраться нельзя. Мало ли что? Может быть; старуха еще при жизни стукнулась обо что-нибудь? Я немного успокаиваюсь и начинаю ходить по комнате, куря трубку и обдумывая свое положение.

Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод все сильнее и сильнее. От голода я даже начинаю дрожать. Я еще раз шарю в шкапике, где храниться у меня провидия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара.

Я вынимаю свой бумажник и считаю деньги. Одиннадцать рублей. Значит, я могу купить ветчинной колбасы и еще останется на табак.

Я поправляю сбившийся за ночь галстук, беру часы, надеваю куртку, выхожу в коридор, тщательно запираю дверь своей комнаты, кладу ключ себе в карман и выхожу на улицу. Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее, и тогда я предприму что-нибудь с этой падалью.

По дороге в магазин мне приходит в голову: не зайти ли мне к Сакердону Михайловичу и не рассказать ли ему все, может быть, вместе мы скорее придумаем, что делать. Но я тут же отклоняю эту

мысль, потому что некоторые вещи надо делать одному, без свидетелей.

В магазине не было ветчинной колбасы, и я купил себе полкило сарделек. Табака тоже не было. Из магазина я пошел в булочную.

В булочной было много народу, и к кассе стояла длинная очередь. Я сразу нахмурился, но все-таки в очередь встал. Очередь подвигалась очень медленно, а потом и вовсе остановилась, потому что у кассы произошел какой-то скандал.

Я делал вид, что ничего не замечаю, и смотрел в спину молоденькой дамочки, которая стояла в очереди впереди меня. Дамочка была видно, очень любопытной: она вытягивала шейку то вправо, то влево и поминутно становилась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть, что происходит у кассы. Наконец она повернулась ко мне и спросила:

— Вы не знаете, что там происходит?

— Простите, не знаю, — сказал я как можно суше.

Дамочка повертелась в разные стороны и, наконец, опять обратилась ко мне:

— Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит?

— Простите, меня это несколько не интересует, — сказал я еще суше.

— Как не интересует? — воскликнула дамочка. — Ведь вы же сами задерживаетесь из-за этого в очереди!

Я ничего не ответил и только слегка поклонился. Дамочка внимательно посмотрела на меня.

— Это, конечно, не мужское дело стоять в очередях за хлебом, — сказала она. — Мне жалко вас, вам приходится тут стоять. Вы, должно быть, холостой?

— Да, холостой! — ответил я, несколько сбитый с толку, но по инерции продолжая отвечать довольно сухо и, при этом, слегка кланяясь.

Дамочка еще раз осмотрела меня с головы до ног, и вдруг, притронувшись пальцем к моему рукаву, сказала:

— Давайте я куплю, что вам нужно, а вы подождите меня на улице. Я совершенно растерялся.

— Благодарю вас, — сказал я. — Это очень мило с вашей стороны, но, право, я мог бы и сам.

— Нет, нет, — сказала дамочка, — ступайте на улицу. Что вы собирались купить?

— Видите ли, — сказал я, — я собирался купить полкило черного хлеба, но только формового, того, который дешевле. Я его больше люблю.

— Ну, вот и хорошо, — сказала дамочка. — А теперь идите. Я

куплю, а потом рассчитаемся.

И она даже слегка подтолкнула меня под локоть. Весеннее солнце светит мне прямо в лицо. Я закурываю трубку. Какая милая дамочка! Это теперь так редко. Я стою, жмурюсь от солнца, курю трубку и думаю о милой дамочке. Ведь у нее светлые карие глаза. Просто прелесть, какая она хорошенькая!

— Вы курите трубку? — слышу я голос рядом с собой. Милая дамочка протягивает мне хлеб.

— О, бесконечно вам благодарен, — говорю я, беря хлеб.

— А вы курите трубку! Это мне страшно нравится, — говорит милая дамочка.

И между нами происходит следующий разговор:

Она. Вы, значит, сами ходите за хлебом?

Я. Не только за хлебом: я себе все сам покупаю.

Она. А где же вы обедаете?

Я. Обыкновенно я сам варю себе обед. А иногда ем в пивной.

Она. Вы любите пиво?

Я. Нет, я больше люблю водку.

Она. Я тоже люблю водку.

Я. Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.

Она. И я тоже хотела бы выпить с вами водки.

Я. Простите, можно вас спросить об одной вещи?

Она. (сильно покраснев) Конечно, спрашивайте.

Я. Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?

Она. (удивленно) В бога? Да, конечно.

Я. А что вы скажете, если нам купить водку и пойти ко мне. Я живу тут рядом.

Она. (замерно) Ну, что же, я согласна.

Я. Тогда идемте.

Мы заходим в магазин, и я покупаю поллитра водки. Больше у меня денег нет, какая-то мелочь. Мы все время говорим о разных вещах, и вдруг я вспоминаю, что у меня в комнате, на полу, лежит мертвая отруха. Я оглядываюсь на мою новую знакомую: она стоит у прилавка и рассматривает банки с вареньем. Я осторожно пробираюсь к двери и выхожу из магазина. Как раз, против магазина останавливается трамвай. Я вскакиваю в трамвай, даже не посмотрев на его номер. На Михайловской улице я вылезая и иду к Сакердону Михайловичу. У меня в руках бутылка с водкой, сардельки и хлеб.

Сакердон Михайлович сам открыл мне двери. Он был в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отрезанными голени-

шами и в меховой, с наушниками, шапке, но наушники были подняты и завязаны на макушке бантом.

— Очень рад, — сказал Сакердон Михайлович, увидя меня.

— Я не оторвал вас от работы? — спросил я.

— Нет, нет, — сказал Сакердон Михайлович. — Я ничего не делал, а просто сидел на полу.

— Видите ли, — сказал я Сакердону Михайловичу. — Я к вам пришел с водкой и закуской. Если вы ничего не имеете против, давайте выпьем.

— Очень хорошо, — сказал Сакердон Михайлович. — Вы входите.

Мы прошли в его комнату. Я откупорил бутылку с водкой, а Сакердон Михайлович поставил на стол две рюмки и тарелку с вареным мясом.

— Тут у меня сардельки, — сказал я. — Так, как мы будем их есть: сырыми, или будем варить?

— Мы их поставим варить, — сказал Сакердон Михайлович, — а пока они варятся, мы будем пить водку под вареное мясо. Оно из супа, превосходное вареное мясо!

Сакердон Михайлович поставил на керосинку кастрюльку, и мы сели пить водку.

— Водку пить полезно, — говорил Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. — Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб — это солома, которая гниет в наших желудках.

— Ваше здоровье! — сказал я, чокаясь с Сакердоном Михайловичем.

Мы выпили и закусили холодным мясом.

— Вкусно, — сказал Сакердон Михайлович. Но в это мгновение в комнате что-то резко шелкнуло.

— Что это? — спросил я.

Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг шелкнуло еще раз. Сакердон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал занавеску.

— Что вы делаете? — крикнул я.

Но Сакердон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, схватил занавеской кастрюльку и поставил ее на пол.

— Черт побери! — сказал Сакердон Михайлович. — Я забыл в кастрюльку налить воды, а кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль отскочила.

— Все понятно, — сказал я, кивая головой.

Мы опять сели за стол.

— Черт с ними, — сказал Сакердон Михайлович, — мы будем есть сардельки сырыми.

— Я страшно есть хочу, — сказал я.

— Кушайте, — сказал Сакердон Михайлович, подвигая мне сардельки.

— Ведь я в последний раз ел вчера с вами в подвальчике и с тех пор ничего еще не ел, — сказал я.

— Да, да, да, — сказал Сакердон Михайлович.

— Я все время писал, — сказал я.

— Черт побери! — утрировано воскричал Сакердон Михайлович. — Приятно видеть перед собой гения.

— Еще бы! — сказал я.

— Много, поди, наваляли? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — исписал пропасть бумаги.

— За гения наших дней, — сказал Сакердон Михайлович, поднимая рюмку.

Мы выпили. Сакердон Михайлович ел вареное мясо, а я сардельки. Съев четыре сардельки, я закурил трубку и сказал:

— Вы знаете, я ведь к вам пришел, спасаясь от преследования.

— Кто же за с преследовал? — спросил Сакердон Михайлович.

— Дама, — сказал я. Но так как Сакердон Михайлович ничего меня не спросил, а только молча налил в рюмки водку, то я продолжал:

— Я с ней познакомился в булочной и сразу влюбился.

— Хороша? спросил Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — в моем вкусе.

Мы выпили, и я продолжал.

— Она согласилась идти ко мне пить водку. Мы зашли в магазин, но из магазина мне пришлось потихоньку удрать.

— Не хватило денег? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, денег хватило в обрез, — сказал я, — но вспомнил, что не могу пустить ее в свою комнату.

— Что же у вас в комнате была другая дама? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама, — сказал я, улыбаясь. — Теперь я никого к себе в комнату не могу пустить.

— Женитесь. Будете приглашать меня к обеду, — сказал Сакердон Михайлович.

— Нет, — сказал я, фыркая от смеха, — На этой даме я не женюсь.

— Ну, тогда женитесь на той, которая из булочной, — сказал Са-

кердон Михайлович.

— Да что вы все хотите меня женить? — сказал я.

— А что же? — сказал Сакердон Михайлович, наполняя рюмки, — за ваши успехи!

Мы выпили. Видно, водка начала оказывать на нас свое действие.

Сакердон Михайлович снял свою меховую, с наушниками, шапку и швырнул ее на кровать. Я встал и прошелся по комнате, ощущая уже некоторое головокружение.

— Как вы относитесь к покойникам? — спросил я Чакердона Михайловича.

— Совершенно отрицательно, — сказал Сакердон Михайлович. — Я их боюсь.

— Да, я тоже терпеть не могу покойников, — сказал я. — Подвернись мне покойник, и не будь он моим родственником, я бы, должно быть, пнул бы его ногой.

— Не надо лягать мертвецов, — сказал Сакердон Михайлович.

— А я бы пнул его сапогом прямо в морду, — сказал я. — Терпеть не могу покойников и детей.

— Да, дети гадость, — согласился Сакердон Михайлович.

— А что — по-вашему, хуже: покойники или дети? — спросил я.

— Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники, все-таки, не врываются в нашу жизнь, — сказал Сакердон Михайлович.

— Врываются! — крикнул я и сейчас же замолчал.

Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.

— Хотите еще водки? — спросил он.

— Нет, — сказал я, но, спохватившись, прибавил; — Нет, спасибо, я больше не хочу.

Я подошел и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим.

— Я хочу спросить вас, — говорю я наконец. — Вы веруете в Бога?

У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:

— Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пять-десять рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать; и самый удобный и приятный способ отказа, это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у торгового человека деньги есть и, тем самым, лишили его возможности вам просто и приятно отказать. А вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека: "Веруете ли вы в Бога?" — тоже

поступок бестактный и неприличный.

— Ну, — сказал я, — тут уж нет ничего общего.

— А я и не сравниваю, — сказал Сакердон Михайлович.

— Ну, хорошо, — сказал я, оставим это. Извините, только, меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос.

— Пожалуйста, — сказал Сакердон Михайлович. — Ведь я просто отказался отвечать вам.

— И я бы тоже не ответил, — сказал я, — да только по другой причине.

— По какой же? — вяло спросил Сакердон Михайлович.

— Видите ли, — сказал я, — по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.

— Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? — сказал Сакердон Михайлович. — А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что?

— Может быть, и так, — сказал я. — Не знаю.

— А верят или не верят во что? В Бога? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, — сказал я, — в бессмертие.

— Тогда, почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?

— Да просто потому, что спросить; "Верите ли вы в бессмертие?" звучит как-то глупо, — сказал я Сакердону Михайловичу и встал.

— Вы что, уходите? — спросил меня Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — мне пора.

— А что же водка? — сказал Сакердон Михайлович, — ведь и осталось-то всего по рюмке.

— Ну, давайте допьем, — сказал я.

Мы допили водку и закусили остатками вареного мяса.

— А теперь я должен идти, — сказал я.

— До свидания, — сказал Сакердон Михайлович, проводая меня через кухню на лестницу. — Спасибо за угощение.

— Спасибо вам, — сказал я, — до свидания. И я ушел.

Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на плечо пустую водочную бутылку, надел опять на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердона Михайловича заложены за спину, и их не было видно. В из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги, обутые в русские сапоги с срезанными голенищами.

Я шел по Невскому, погруженный в свои мысли. Мне надо сейчас же пройти к управдому и рассказать ему все. А разделавшись со старухой, я буду целые дни стоять около булочной, пока не встречу ту

милую дамочку. Ведь я остался ей должен за хлеб сорок восемь копеек. У меня есть прекрасный предлог ее разыскивать. Выпитая водка продолжала еще действовать, и казалось, что все складывается хорошо и просто.

На Фонтанке я подошел к ларьку и на оставшуюся мелочь выпил большую кружку хлебного кваса. Квас был прохой и кислый, и я пошел дальше с мерзким вкусом во рту.

На углу Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера: я убил бы его тут же на месте.

До самого дома я шел, должно быть, с искаженным от злости лицом. Во всяком случае, почти все встречные оборачивались на меня.

Я вошел в домовую контору. На столе сидела низкорослая, грядная, курносая, кривая и белобрысая девка и, глядясь в ручное зеркальце, мазала себе помадой губы.

— А где же управдом? — спросил я.

Девка молчала, продолжая мазать губы.

— Где управдом? — повторил я резким голосом.

— Завтра будет, не сегодня, — отвечала грязная, курносая, кривая и белобрысая девка.

Я вышел на улицу. По противоположной стороне шел инвалид на механической ноге и громно стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку.

Я завернул в свою парадную и стал подниматься по лестнице. На втором этаже я остановился; противная мысль пришла мне в голову: ведь старуха должна начать разлагаться. Я не закрыл окна, а говорят, что при открытом окне покойники разлагаются быстрее. Вот ведь глупость какал! И этот чертов управдом будет только завтра! Я постоял в нерешительном положении несколько минут и стал подниматься дальше.

Около двери в свою квартиру я опять остановился. Может быть, пойти к булочной и ждать там ту милую дамочку? Я бы стал умолять ее пустить меня к себе на две или три ночи. Но тут я вспоминаю, что сегодня она уже купила хлеб, и значит, в булочную не придет. Да и вообще из этого ничего бы не вышло.

Я отпер дверь и вошел в коридор. В конце коридора горел свет, и Марья Васильевна, держа в руке какую-то тряпку, терла по ней другой тряпкой. Увидя меня, Марья Васильевна крикнула:

— Ваш спрашивал какой-то штарик!

— Какой старик? — сказал я.

- Не знаю, - ответила Марья Васильевна.
 - Когда это было? - спросил я.
 - Тоже не знаю, - сказала Марья Васильевна.
 - Вы разговаривали со стариком, - спросил я Марью Васильевну.
 - Я, - отвечала Марья Васильевна.
 - Так, как же вы не знаете, когда это было? - сказал я.
 - Чиса два тому назад, - сказала Марья Васильевна.
 - А как этот старик выглядел? - спросил я.
 - Тоже не знаю, - сказала Марья Васильевна и ушла на кухню.
- Я пошел к своей комнате. "Вдруг, - подумал я, - старуха исчезла. Я войду в комнату, а старухи-то и нет. Боже мой! Неужели чудеса не бывают?!"

Я отпер дверь и начал ее медленно открывать. Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в противоположную дверь и на мгновение застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу.

Я с криком захлопнул дверь, повернул ключ и отскочил к противоположной стенке.

В коридоре появилась Марья Васильевна.

- Вы меня жвали? - спросила она.

Меня так трясло, что я ничего не мог ответить и только отрицательно замотал головой. Марья Васильевна подошла ближе.

- Вы ш с кем-то разговаривали, - спросила она.

Я отрицательно замотал головой.

- Шумашедший, - сказала Марья Васильевна и опять ушла на кухню, несколько раз по дороге оглянувшись на меня.

Так стоять нельзя. Так стоять нельзя, - повторил я мысленно. Эта фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил ее до тех пор, пока она не дошла до моего сознания.

- Да, так стоять нельзя, - сказал я себе, но продолжал стоять как парализованный. Случилось что-то ужасное, но предстояло сделать что-то, может быть, еще более ужасное, чем то, что уже произошло. Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках.

Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать! Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего, уже в продолжении многих лет, стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах!...

Озноб еще не прошел. Я стоял с поднятыми плечами от внутреннего холода. Мысли мои скакали, путались, возвращались к исходному пункту и вновь скакали, захватывая новые области, а я стоял и прислушивался к своим мыслям и был, как бы, в стороне от них, и был, как бы не их командир.

— Покойники, — объясняли мне мои собственные мысли, — народ неважный. Их зря называют покойники, они скорее, беспокойники. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, чтобы покойники не расползались. Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока сторож по приказанию начальства мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное белье им пришлось рассчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине тубуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку.

— Стоп! — сказал я своим собственным мыслям. — Вы говорите чушь. Покойники неподвижны.

— Хорошо, — сказали мне мои собственные мысли, — войди тогда в свою комнату, где находиться, как ты говоришь, неподвижный покойник. Неожиданное упрямство заговорило во мне.

— И войду! — сказал я решительно своим собственным мыслям.

— Попробуй! — насмешливо сказали мне мои собственные мысли.

Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери.

— Подожди! — закричали мне мои собственные мысли. Но я уже повернул ключ и распахнул дверь.

Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол. С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не шевелилась.

Озноб прошел, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром их.

— Раньше всего, закрыть дверь! — скомандовал я сам себе.

Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а в правой я держал крокетный молоток и все время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и все время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты.

— Теперь мы с тобой рассчитаемся, — сказал я. У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий; я просто хотел запрятать старуху в чемодан, отвезти за город и спустить в болото. Я знал одно такое место.

Чемодан стоял у меня под кушеткой. Я вытащил его и открыл. В нем находились кое-какие вещи: несколько книг, старая фетровая шляпа и рваное белье. Я выложил все это на кушетку.

В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула.

Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток.

Старуха лежит спокойно. Я стою и прислушиваюсь. Это вернулся машинист, я слышу, как он ходит у себя в комнате. Вот он идет по коридору на кухню. Если Марья Васильевна расскажет ему о моем сумасшествии, это будет нехорошо. Чертовщина какая. Надо мне пройти на кухню и своим видом успокоить их.

Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя еще в комнату иметь молоток в руках, и вышел в коридор. Из кухни неслись голоса, но слов не было слышно. Я прикрыл за собой дверь в свою комнату и осторожно пошел на кухню; мне хотелось узнать, о чем говорит Марья Васильевна с машинистом. Коридор я прошел быстро, а около кухни замедлил шаги. Говорил машинист, по-видимому, он рассказывал что-то, случившееся с ним на работе.

Я вошел. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист махнул мне рукой.

— Здравствуйте, здравствуйте, Матвей Филиппович, — сказал я ему и прошел в ванную комнату. Пока все было спокойно. Марья Васильевна привыкла к моим странностям и этот последний случай могла уже и забыть.

Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что; если старуха вылезет из комнаты?

Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошел кухню спокойным шагом.

Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила машинисту:

— Ждорова! Вот это ждорова! Я бы тоже швистела!

С замирающим сердцем я вышел в коридор, и тут же, чуть не бегом пустился к своей комнате.

Снаружи все было спокойно. Я подошел к двери и, приотворив ее,

заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошел в комнату и запер за собой дверь на ключ. Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошел к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого, пока еще хоть и слабого, но все-таки уже нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало, и немного болел живот.

Ну, что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запаковать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тянуть меня за палец. А потом умирать от трупного заражения — благодарю покорно!

— Эге! — воскликнул я вдруг. — А интересуюсь я: чем вы меня укусите? Зубки-то ваши вон где!

Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол, по ту сторону окна, где, по моим расчетам, должна была находиться вставная челюсть старухи. Но челюсти там не было. Я задумался: может быть мертвая старуха ползала у меня по комнате, ища свои зубы? Может быть, даже нашла их и вставила себе обратно в рот?

Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошел к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню.

Брезгливый страх к себе вызывала эта мертвая старуха. Я приподнял молотком ее голову: рот был открыт, глаза закатились кверху, а по всему подбородку, куда я ударил ее сапогом, расплзлось большое темное пятно. Я заглянул старухе в рот, она не нашла свою челюсть. Я опустил голову. Голова упала и стукнулась об пол.

Тогда я расстелил на полу байковую простыню и подтянул ее к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок и спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. Скорее, прочь эту падаль!

Я закатал старуху в толстую простыню и поднял ее на руки. Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил ее в чемодан и попробовал закрыть крышкой. Тут я ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и выпрямился.

Чемодан стоит передо мной, с виду вполне благоприятный, как будто в нем лежит белье и книги. Я взял его за ручку и попробовал поднять. Да, он был, конечно, ^{тажел}но не чрезмерно, я мог вполне донести его до трамвая.

Я посмотрел на часы: двадцать минут шестого. Это хорошо. Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку.

Видно, сардельки, которые я ел сегодня, были не очень хороши, потому что живот мой болел все сильнее. А, может быть, это потому что я ел их сырыми? А может быть, боль в животе была и чисто нервной,

Я сижу и курю. И минуты бегут за минутами.

Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно прячется за трубу противоположного дома, и тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как вчера в это время я сидел и писал повесть. Вот она: клетчатая бумага и на ней надпись, сделанная мелким почерком: "Чудотворец был высокого роста".

Я посмотрел в окно. По улице шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смешной походкой инвалида.

Я встал. Пора! Пора в путь! Пора отвезить старуху на болото! Мне нужно еще занять деньги у машиниста.

Я вышел в коридор и подошел к его двери.

— Матвей Филиппович, вы дома? — спросил я.

— Дома, — ответил машинист.

— Тогда, извините, Матвей Филиппович, вы не богаты деньгами? Я послезавтра получу. Не могли бы вы мне одолжить тридцать рублей?

— Мог бы, — сказал машинист. И я слышал, как он звякал ключами отпирая какой-то ящик. Потом он открыл дверь и протянул мне новую красную тридцатирублевку.

— Большое спасибо, Матвей Филиппович, — сказал я.

— Не стоит, не стоит, — сказал машинист.

Я сунул деньги в карман и вернулся в свою комнату. Чемодан спокойно стоял на прежнем месте.

— Ну, теперь в путь, без промедления, — сказал я сам себе.

Я взял чемодан и вышел из комнаты. Марья Васильевна увидела меня с чемоданом и крикнула: — Куда вы?

— К тетке, — сказал я.

— Скоро приедете? — спросила Марья Васильевна.

— Да, — сказал я. — Мне нужно только отвезти к тетке кое-какое болье. Приеду, может быть, и сегодня.

Я вышел на улицу. До трамвая я дошел благополучно, неся чемодан в правой, то в левой руке.

В трамвай я влез с передней площадки прицепного вагона и стал махать кондукторше, чтобы она пришла получить за багаж и билет. Я не хотел передавать единственную тридцатирублевку через весь вагон и не решился оставить чемодан и сам пройти к кондукторше. Кондукторша пришла ко мне на площадку и заявила, что у нее нет сдачи. На первой же остановке мне пришлось слезти.

Я стоял злой и ждал следующего трамвая. У меня болел живот и слегка дрожали ноги.

И вдруг я увидел свою милую дамку: она переходила улицу и не смотрела в обе стороны.

Я схватил чемодан и кинулся за ней. Я не знал, как ее зовут, и не мог ее окликнуть. Чемодан отчаянно мешал мне: я держал его перед собой двумя руками и подталкивал его коленями и животом. Милая дамочка шла довольно быстро, и я чувствовал, что мне ее не догнать. Я был весь мокрый от пота и выбивался из сил. Милая дамочка повернула в переулок. Когда я добрался до угла — ее нигде не было.

— Проклятая старуха! — прошипел я, бросая чемодан на землю.

Рукава моей куртки насквозь промокли от пота и липли к рукам. Я сел на чемодан и, вынув носовой платок, вытер им шею и лицо. Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально посмотрел на ближайшую подворотню, как-бы ожидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. Дикая мысль душила меня. Ах, напуститесь бы на них столбцы!

И вот, когда эти паршивые мальчишки, я встаю, поднимаю чемодан, подвожу к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивленное лицо, достаю часы и пожимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают за мной. Я еще раз пожимаю плечами и заглядываю в подворотню.

— Странно, — говорю я вслух, беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке. На вокзал я приехал без пяти минут семь. Я беру обратный билет до Лисьего Носа и сажусь в поезд.

В вагоне, кроме меня, еще двое: один, как видно, рабочий, он устал и, надвинув кепку на глаза, спит. Другой, еще молодой парень, одет деревенским франтом: под пиджаком розовая косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый клок. Он курит папиросу, всунутую в ярко-зеленый мундштук из пластмассы.

Я ставлю чемодан между скамейками и сажусь. В животе у меня такие рези, что я сжимаю кулаки, чтобы не застонать от боли.

По платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. Он идет, заложив руки за спину и опустив голову.

Поезд трогается. Я смотрю на часы: десять минут восьмого 0, с каким удовольствием спущу я эту старуху в болото! Жаль только, что не захватил с собой палку, должно быть, старуху придется подталкивать.

Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. Я поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в окно.

В моем животе происходят ужасные схватки: тогда я стискиваю зубы, сжимаю кулаки и напоягаю ноги.

Мы проезжаем Ланскую и Новую Деревню. Вон мелькает золотая верхушка Буддийской пагоды, а вон показалось море...

Но тут я вскакиваю и, забыв все вокруг, медкими шапками бегу в уборную. Безумная волна качает и вертит мое сознание.

Поезд замедляет ход. Мы подъезжаем к Лахте. Я сижу, боясь пошевелиться, чтобы меня не выгнали на остановке из уборной.

— Скорей бы он трогался! Скорей бы он трогался!

Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь сладки, как мгновения любви!

Все мои силы напряжены, но я знаю, что за этим последует страшный упадок.

Поезд опять останавливается. Это Ольгино. Значит, опять эта пытка! Но теперь это ложные позывы. Холодный пот выступает у меня на лбу; и легкий холодок порхает вокруг моего сердца. Я поднимаюсь и некоторое время стою, прижавшись головой к стене. Поезд идет, и покачивание вагона мне очень приятно.

Я собираю все свои силы и, пошатываясь, выхожу из уборной.

В вагоне нет никого. Рабочий и франт в розовой косоворотке, видно слезли на Лахте или в Ольгино. Я медленно иду к своему окошку.

И вдруг я останавливаюсь и тупо гляжу перед собой. Чемодана, там, где я его оставил, нет. Должно быть, я ошибся окном. Я прыгаю к следующему окну. Чемодана нет. Я прыгаю назад, я пробегаю вагон в обе стороны, заглядываю под скамейки, но чемодана нигде нет.

Да разве можно тут сомневаться? Конечно, пока я был в уборно

чемодан украли. Это можно было предвидеть!

Я сижу на скамейки с вытаращенными глазами, и мне почему-то вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскаленной кастрюльки.

— Что же получилось? — спрашиваю я сам себя. — Ну; кто теперь поверит, что я не убивал старухи? Меня сегодня же схватят, тут или в городе, как того гражданина, который шел, опустив голову.

Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к Лисьему Носу. Мелькают белые столбики, огораживающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду к станционному павильону. До поезда, идущего в город, еще полчаса.

Я иду в лесок, вот кустики можжевельника, за ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.

По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцами. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.

Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине.

Я низко склоняю голову и негромко говорю:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь...

.....

На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянута.

Конец мая и первая половина июня 1939 года.

БОРИС ВАХТИН

ТРИ ПОВЕСТИ С ТРЕМЯ ЭПИЛОГАМИ

(а, может быть, одна поэма)

Борис Борисович Вахтин родился 3 ноября 1930 года в Ростове-на-Дону. Учился в Ленинграде, окончил восточный факультет ЛГУ.

Китаист, работал в Институте востоковедения. Переводчик и литературовед. Переводил китайских авторов, вышли две книги. Вел семинар по художественному переводу с восточных языков при Союзе писателей.

Проза его практически не печаталась. Два рассказа и "Портрет незнакомки" были опубликованы в "Юности" в начале шестидесятых. Критики не было.

Умер Борис Вахтин 12 ноября 1981 года.

Трилогия, предлагаемая вниманию читателей журнала "Сумерки", написана в 1957-59 годах.

ЛЕГЧИК ТЮТЧЕВ, ИСПЫТАТЕЛЬ

I.

Начало

В нашем доме живут я, женщина Нонна, летчик-испытатель Тютчев, потомственный рабочий Вахрамеев, бывший солдат Тимохин, мальчик Гоша и еще прорва всякого народа числом пятьдесят квартир, и в некоторых по две-три семьи из трех и более человек.

Вокруг нашего дома стоят другие дома с аналогичным положением, образуя двор с деревьями посередине.

Под деревьями, благодаря субботнику, есть стол и две скамьи для домино.

У нас много выдающихся жителей, например, наш писатель Карнаухов, хрупкая мексиканка в советском подданстве, художник Циркачев, знаменитый борец за мир Мартын Задека, например.

И о каждом жителе можно рассказать полное собрание сочинений.

2.

А почему у него одна рука?

В нашем дворе бывает часто такой пережиток, что отправляются пройтись, сложившись, а иногда и за счет одного, в случае, если есть.

И пройдясь, счастье имеют в виде занятости самими собой, выясняя насчет дружбы и все говоря по правде, но только чтобы не обижаться.

Конечно, это дело — дрянь, но бывает часто именно так и даже еще и так, что идут назад по параболе или же короткими перебежками, падая вперед друг за другом.

Конечно, это не дело, но пусть осудит тот, кто таким способом не передвигался и по утрам к новой жизни не возрождался, как Озирис, чувствуя в организме поправку от болезни и пробуждение свежих сил, включая нравственные намерения. Тот, а не я.

А почему у него одна рука?

Так спросил у бывшего солдата Тимохина старик-переплетчик,

когда они возвращались домой по параболе через незнакомую улицу.

И бывший солдат Тимохин сказал:

— Дело прошлое, но правду говоря, только ты, старик, не обижайся, потому что ты лично тут не при чем, это верно тебе говорю, но было ранение и доктор руку отрезал, только ты-то не обижайся.

Старик-переплетчик упал на радиатор и сказал такси:

— Поехали.

Его оттащили, так как он упал без очереди, а желающих имелось много. И потом была в жизни пауза, а еще потом в другой незнакомой улице старик-переплетчик весело говорил Тимохину:

— Граждане, милиционер, понимаешь, он мне ухо оторвал, сам посмотри.

И показывал ухо, которое было совершенно целое, а также паспорт, требуя убедиться.

А солдат Тимохин сказал, продолжая:

— Встретились мы с ним потом, он в деревне у нас дачу снял, мы рыбу ловили, клевало, говорил, вот как получилось, солдат, только ты не обижайся, по правде сказать.

3.

Актриса Нелли

Актриса Нелли в западном плане имеет глаза бархатные, как абрикосы, длинные ноги и трепет при виде летчика Тютчева в кожаной куртке.

— Здравствуйте, Федор Иванович, — говорит она на закате, когда возвращается летчик. — Сегодня у меня друзья и очень будет весело.

— Здравствуйте, — говорит летчик Тютчев, испытатель, и проходит мимо.

И актриса Нелли прижимается всем своим трепетом к кому-нибудь другому, наблюдая вдаль кожаную куртку.

— Я устала от бестебятины, — кружит она голову в западном плане, и у нее бывают друзья и очень шумно, потому что она талантлива и снимается в картине, изображая итальянскую безра-

ботную, и мы все пойдем смотреть.

А летчик Тютчев сидит у мексиканки, которая является его мексиканкой, и пьет не что-нибудь, отнюдь, а желтый чай, отдыхая от полета над Россией, бережный, будто отогревая за пазухой, под курткой, а его товарищ, костлявый молчаливый пилот, который всегда при нем, как тень, как утренняя тень, вдохновенно глядит в потолок, наслаждаясь счастьем друга.

4.

Летчик Тютчев в агитпункте

Он делился опытом в агитпункте, говоря:

— Много раз я делал вынужденные посадки, когда пурга вокруг самолета тысячу километров налево и направо, и пассажиры мои начинали мерзнуть и проявлять свое нутро, делясь у кого чем было поесть, так что нутро у них обнаруживалось такое, что лучшего в пургу ждать не приходится. Обнаруживалось нутро лучше, чем в повседневной жизни, чего никак нельзя было предположить в заурядных обстоятельствах.

Так говорил летчик Тютчев, вкладывая в свои слова громадный жизненный опыт.

И агитпункт трещал по швам от толпы, приходившей послушать летчика Тютчева, потому что он делился громадным жизненным опытом.

— Какой-нибудь пижон, — говорил летчик Тютчев, — вместо того, чтобы метаться от страха и задавать бессмысленные вопросы про то, когда кончится пурга, как от него ожидали нормальные люди, вылезит наружу и идет охотиться, чтобы всем было что поесть, пока они перетерпят бедствие.

— А что это такое — пижон? — спрашивали из зала не с подковыкой, а подобострастно.

— Пижон, — говорил летчик Тютчев со знанием дела, — это тот, кто всего хочет, но ничего не умеет. И вот такой человек в исключительных обстоятельствах шел охотиться на медведя, и в этом-то и есть сила нашего общества.

И секретарь райкома в этом месте начинал кивать головой, соглашаясь и одобряя, а зал хлопал, как один человек.

— Как же назвать эти поступки, неожиданные и удивительные? Как назвать это одним соразмерным словом, чтобы прозвучало

оно, это слово, как выстрел спасательной экспедиции?

— Назвать здорово! — предлагали из зала. — Назвать молодец!

— Это слово, — говорил летчик Тютчев, — это слово — чудо, товарищи, чудо.

Громадный опыт у нашего летчика-испытателя Тютчева, прямо дух захватывает.

— А где чудо, там и странности. И первая необъяснимая странность та, что нутро, проявившее себя в пургу любовью, дружбой и товариществом, в заурядном быте такими сторонами поворачивает себя редко, и далеко не ко всем подряд, а большей частью к родным и знакомым. И вот, думаю я, чтобы такую странность растолковать наглядно и с прямотой, требуется, думаю я, писатель, потому что он имеет проницательность во всех отношениях.

О чем только не рассказывал летчик Тютчев на своих выступлениях в агитпункте — и о пурге, и о пиконах, и медведях, и самолетах, и о прочитанных книгах. И зал ломился от слушателей, набитый битком, как жизнь летчика Тютчева-событиями.

6.

Как надстроили наш дом

Художник Пиркачев появился среди нас не от рождения, а в силу обстоятельств.

Большие люди собрались где-то на совещание и постановили построить на крыше нашего дома мастерскую для художника с окном-стеной, с окном-витриной, с окном на восток. Большие люди так решили, чтобы развивать искусство, и мастерскую построили, для чего перекопали двор, меняя водопровод, разрушили асфальт на улице и расчистили речку машиной, которая чавкала по ночам, переливая грязь в баржи.

Весь дом ходил смотреть мастерскую. Все мы столпились, сняв шапки, в ее центре, а наш писатель Карнаухов давал пояснения:

— Окна — готического стиля, — сказал он. — Потолок — ложное барокко, а пол паркетный. Здесь будет жить художник, и всю эту роскошь дало ему государство, чтобы он совершенствовал свое мастерство.

Так появился у нас художник Циркачев, принеся своей деятельностью в наш двор некое подобие сюжета.

7.

Женщина Нонна

Молодая женщина Нонна была матерью дошкольного мальчика Гоши и потрясала всеобщее воображение, и я забыл про свою влюбчивость и полюбил ее первой любовью.

Однажды я сидел у нее в гостях и рассказывал про свои далеко идущие замыслы, а потом почему-то перестал рассказывать, и она смотрела на меня во все глаза, а потом стала раздеваться, и я обалдел от неожиданности, но мне некогда было думать, почему это так и какие во мне достоинства; и она красиво молчала все это время, моя женщина Нонна.

И она вошла в мою жизнь, и я объяснялся ей в любви четырнадцатый раз и так же пылко, как в тринадцатый раз.

— Понимаешь, — говорил я ей пылко, обалдев от счастья, — у переносимы нет знака невозможности, а на веснушках далеко не уедешь. Если нам удастся продать бегемота, мы купим пылесос и тогда ты сможешь заняться французским.

— Да, — отвечала мне женщина Нонна, и мне становилось жарко на сердце от ее неукрашенного голоса. — Я до визга люблю машины.

И вот у нее появилась машина, и она получила права, и обтянула фигуру свитером, и покрасила волосы перекисью, и стала возить меня туда и обратно.

А я не спрашивал, откуда у нее машина, потому что у нее было много своих тайн, меня не касавшихся, и она любила машины, а я любил ее и объяснялся ей в любви пятнадцатый раз и так же пылко, как и предыдущий.

— Ты знаешь, — говорил я в пафосе, жмурясь на поворотах, — мне ясно впереди, и не забывай, что в тот день, когда птицы разбили графин с простоквашей, я уже тогда подумал, что все можно объяснить по-хорошему.

— Да, — отвечала моя женщина Нонна, и мне становилось жарко на сердце от ее откровенного голоса. — Просто я до визга люблю машины.

И я жмурился на поворотах.

8.

Нога моей женщины Нонны

Нога моей женщины Нонны — это не нога, это подвиг.

Это подвиг будущих космонавтов, забравшихся в звездный холод и возвратившихся со славой.

Это подвиг маленького мальчика Гоши, откусившего коту правое ухо.

Это подвиг рядового Тимохина, поделившего в зимних окнах цыгарку с другом и под крики "Ура!" вступившего в партию.

От начала и до коленки, от коленки и до конца — это не нога, это самый настоящий подвиг.

9.

Как я ее любил

— Потом, — сказал я.

— Сорви мне вон ту ромашку, — сказала женщина Нонна.

— Потом, — сказал я.

— Послушай, — сказала женщина Нонна тоном голосом, — я просила тебя сорвать мне вон ту ромашку.

— Потом, — твердо сказал я.

— Черт бы тебя подрал, — сказала женщина Нонна, — я сколько раз просила тебя сорвать мне вот ту ромашку.

— Потом, — твердо сказал я.

10.

Спина моей женщины Нонны

На этой спине тоже есть лопатки, и видны у шеи два позвонка, и кожа чистая и без родинок, сверху донизу водопадом кожа белая по-человечески у моей женщины Нонны.

Многие пытались сфотографировать эту спину, но у них ничего не вышло такого, как я знаю.

II.

Летчик Тютчев над Россией

Летчик Тютчев летал иногда обычным рейсом над Россией.

Внизу танцевали девушки в зеленых широких платьях среди сверкавших дорог, на которых замерли машины; и белые облака ходили, раскладывая мозаику из зеленого и бурого, из смолистых лесов, из лугов, островов, из Смоленсков, Калуг и Ростовов.

И летчик Тютчев слышал, как билось в стенку его кабины сердце стюардессы, которая разносила курицу и кофе, не проливая на пол, а под полом — белне Гаргантюа и Пантагрюэли ходили и ходили веторопливо от края до края земли.

И если глянуть вообще, то внизу был мир, бесконечный, как Сибирь.

Агрегат к агрегату, включая металлургию, нефть и комбайны, включая китобойную флотилию "Слава" и тысячи тонн.

Рядом с этим труба от котельной всего-навсего соломинка, не говоря уже о скамейке, на которой мы любим сидеть просто так.

Агрегат к агрегату.

А если вглядываться пристально, то виден внизу какой-нибудь городок на поверхности нашей необъятной родины, например, Торчок. И в центре города имеется Кремль шестнадцатого века, в кремле Вознесенский, Троицкий и еще ооборы, а также лежит колокол на земле, который, как гласит предание, осквернил один из самозванцев, отчего колокол, богом проклятый, упал и лежит, как чурбан, вот уже триста с избытком лет, восхищая прозаиков и поэтов.

Под Вознесенским собором в холодных подвалах, каменных мешках с кольцами для посажения на цепь и в прочих исторических памятниках хранят картошку, а под Троицким керосин, которым торгуют тут в кремле гражданам, создающим очередь у колокола с бидонами и бачками.

Торчок имеет население смешанное, включая интеллигенцию и крестьян, а что до промышленности, то, главным образом, финифть, отчего пролетариат поголовно женского пола.

Никакого отношения за всю свою жизнь летчик Тютчев не обнаруживал к Торчку, исключая любовь ко всей необъятной родине, как она есть, над которой он летел.

12.

Художник Циркачев и девочка Веточка

Говорят, что он поставил музыку, и музыка заорала на всю мастерскую и на весь двор; говорят, он объяснил ей толково, что к чему, и, объяснив немного, спрашивал настойчиво, а она отвечала ему да; говорят, он не выключил свет; говорят, ее бил озноб, и тело ее покрылось льдинками; говорят, она плакала, когда кончилась музыка, и тогда он погасил свет, и толстая баба Фатма, циркачева поклонница, шинряла ночью по мастерской, как летучая мышь, и готические окна темносиними были, и он спал, спал, спал, и проступили две незаконченные картины Циркачева — "Сиамские близнецы", изображавшая, как он говорил, трагедию вечной сдвоенности, и "Волоколамское шоссе", про которую он только хмыкал и на которой были танки и фашисты в натуральную величину.

13.

Бывает...

Бывает, что я, по профессии интеллигент, ночью поднимаюсь на нашу крышу, сажусь там, свесив ноги вниз, смотрю вокруг откровенно на наш замечательный двор и думаю.

Думаю откровенно о нем и о нас, о всех нас с вами.

Внизу над трамвайными рельсами, что уходят в улицу, висит ветка лампочек, и сварщики чинят путь.

Вверху летит над Россией он, летчик Тютчев, испытатель, двумя огоньками — зеленым и красным.

Спят за потасшими окнами нашего дома люди в полном составе.

Завтра они будут жить и браться сообща, но каждый на свой манер; а сейчас они все равны перед сном, одинаковые.

Мир колыхается по ночам и волнуется, как отражение в воде, имея в виду дома, и котельную с трубой, и светлое окно под крышей напротив, и деревья во дворе, и мостонду.

Все струится, течет и шепчет, как сухой камыш над озером в темную ночь.

Вон два дома раскачиваются, как слоны, раскачиваются, словно хотят ошибиться, и шепчут всеми окнами:

— Предстоят путешествия, далекие странствия, полеты, игры и женщины. Не шумите, не мешайте, предстоят путешествия, в Калькутту, а может быть дальше. Не шумите, не мешайте, спите пока, спите.

А там, к центру города, есть мир, где не пахнет летчиком Тютчевым, где ходят друг к другу умные люди с поллитрами водки, и женщины имеют строгую фигуру, челки и педикюр, а также помогают мужьям утвердить свое я и показать лучшие стороны...

А здесь на крыше сижу я и слышу, в частности, как шепчет толстая баба Фатима о слиянии душ и насчет своей страстной материнской любви опящему Циркачеву:

— Ночь каркает за твоим окном, как ржавый гвоздь из доски, а мне все едино, римский папа и пусть. Никого и ничего, только бы подстилкой у царских врат, потому что главное Гений, а все остальное пусть...

Улетают огни летчика Тютчева, бледнеют с зарей лампочки на ветке, затекают ноги мои от сидения на краю.

О всех нас с вами, вот ведь в чем дело.

14.

Песня около козы

Мы часто большинством двора выезжали на природу, и женщина Нонна везла нас навалом в своей машине, а сзади в такси следовал Циркачев со своей компанией и с девочкой Веточкой.

Мы отдыхали в бору над рекой, где паслась коза.

И около козы у писателя Карнаухова и художника Циркачева получилось недружелюбное столкновение.

— Ваши черные брюки мешают мне рисовать, — сказал Циркачев небрежно.

— Жаль, — сказал Карнаухов, — но я не могу отойти именно от этой вот травинки и именно от этого вот кузнечика, которые делают мне настроение.

И он сказал это тоже небрежно.

— Как это допустимо торчать у великого художника в глазу, — сказала толстая баба Фатима, — имея за душой в преклонном возрасте лучший рассказ о полете на Луну и еще что-то про метро без зарубежной прессы!

Но тут в дискуссии вышла пауза песней летчика Тютчева:

Друг мой!
 Улыбку набекрень!
 Вместе в разрывах облаков.
 Буду
 И не забуду,
 Что путь далек,
 Хотя, конечно, с нами бог!
 Вспомни
 Ромашек пересвет,
 Камень,
 Что на дороге лег,
 Буду
 И не забуду,
 А ля фуршет,
 Хотя, конечно, путь далек.

Летчик Тютчев кончил свою песню, молчаливый пилот дал ему закурить, и они поняли друг друга из фляжки.

Но души писателя Карнаухова и художника Циркачева от песни не проветрились. Речь у них шла около козы о самом главном в творчестве:

— Друг мой, — сказал художник Циркачев, обращаясь к девочке Веточке кротко, как Христос, но уверенно, как лектор по радио, — стань вот сюда и заслони своей талией это пятно.

Но девочки Веточки, может, и хватало на что другое, только не заслонить писателя Карнаухова, обширного, как облако.

— Дело не в прессе, — сказал Карнаухов, — дело в осуществлении замысла.

Но тут вмещалась коза.

Она подошла и встала, как вкопанная, между писателем Карнауховым и художником Циркачевым ко всеобщему временному удовлетворению.

15.

Беседа

Часть населения нашего дома сидела на лавочке возле котельной и миролюбиво беседовала.

- Если, конечно, так, - сказал бывший рядовой Тимохин, - то, значит, в этом смысле все так буквально и будет.

- В этом буквально смысле, я считаю, и будет, - сказал писатель Карнаухов.

Но летчик Тютчев сказал:

- Я не согласен. Если бы так было, то уже было бы, но так как этого ничего нет, то, значит, и вероятности в этом уже никакой нет.

Старик-переплетчик прикурил у летчика Тютчева и сказал:

- Вот оно как получается, если вникнуть.

Но бывший рядовой Тимохин обиделся словам летчика Тютчева и сказал примирительно:

- Не в этом суть, Федор Иванович, что нет в этом никакой вероятности, а в том, что значит в этом смысле все совершенно так и будет, как я сказал.

И писатель Карнаухов подтвердил:

- Я так считаю, что в этом смысле и будет.

Может и плохо бы все это кончилось, но тут пришла мимо женщина Нонна и одним только видом своим уже переменяла тему беседы.

- Ты, дед, покури, - сказали летчик Тютчев, бывший рядовой Тимохин и наш писатель Карнаухов и пошли в магазин пройтись, а старик-переплетчик остался покурить и посмотреть, как маленький мальчик Гоша, раздобыв где-то столовую ложку, ест с ее помощью лужу во дворе напротив котельной; и как выбежала женщина Нонна и стала звонко выбивать из мальчика Гоши интеллигентность; и как я прошел домой и как мне стало жарко на сердце, когда я поздоровался с женщиной Нонной, а она ответила мне на вы, потому что стеснялась мальчика Гоши и берегла его мораль.

А потом они пошли назад мимо мальчика Гоши, который уже играл сам с собой в прятки и считал:

- Раз, два, три, четыре, пять...

- А я думаю, это буквально так, - указал наш писатель Карнаухов и почесал живот рядовому Тимохину.

И солдат Тимохин обнял летчика Тютчева и заплакал у него на груди, объясняясь ему в любви немногими жесткими словами.

Только летчик Тютчев держался железно, потому что он попадал и не в такие переплеты.

— А раньше такое бывало? — спросил он испытательно.

Писатель Карнаухов устал идти и сел у стены.

— Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! — завопил мальчик Гоша так, что зазвенели стекла в окнах, а писатель Карнаухов обрел новые жизненные силы и встал.

— Бывало, — сказал он уверенно, после чего летчик Тютчев понес их домой вместе с Тимохиным, поскольку идти они затруднялись.

16.

Как художник Циркачев употребил бывшего солдата Тимохина между прочим и в первый раз

— Мало осталось, — сказал однажды Циркачев, глядя Тимохину через глаза прямо в душу, — мало осталось таких мужчин, чтобы подать руку взаимной помощи.

Бывший солдат Тимохин растрогался, заморгал, и сказал речь, что в разном смысле, как известный летчик Тютчев разъяснял насчет исключительных обстоятельств, и закурить тоже пожалуйста.

— Не курю, — сказал Циркачев и сделал ладонью чур меня. — Никого, понимаете, нет у меня, чтобы плечо к плечу, не выдать и так далее.

И солдат Тимохин растрогался, понятно, еще больше и сказал, что руку у него одна, но чтобы выдать никогда и даже так далее.

И честно подставив Циркачеву оба глаза для смотрения через них в душу, потому что ни в чем не откажешь, когда такой разговор и потребность в друге.

И девочка Веточка зачастила к Циркачеву для позирования, но причем тут Тимохин и как, не знаю, однако причем-то.

17.

Большая летучая мышь

На лестнице утекло много воды, и стенки испарала история, а внизу направо жил камин, давно не пахнувший пеплом и холодный, как льдина.

На третьем этаже имелась дверь с гирляндой звонков и с

бытовой гармонией, кому сколько полагается звонить и какая правда в какой ящик.

Почти каждое утро из этой двери выпархивала большая летучая мышь и неслась по лестнице навстречу погасшему камину, чужому двору, подворотне и духовной пище.

И в мастерской художника Циркачева она грела чай, держала, ставила и пособляла.

И почти каждый вечер в эту дверь влетала летучая мышь и неслась бесшумно по коридору в узкую комнату, где на кровати, рядом друг с другом, спали брат и сестра. Лежал на столе у окна недоеденный хлеб, кисло молоко в бутылки, и детские одежки на стуле рассказывали о возрасте и сантимертах.

Они еще спали, утром, а летучая мышь спешила бесшумно убраться, чтобы не дать спящим проснуться и к ней позвать. Неслась она по лестнице вниз, навстречу зеленому двору, камину, подворотне и духовной пище, почти каждое утро, пока спящие спали.

18.

Встреча

Наш писатель Карнаухов, создав лучший и пока единственный рассказ о полете на Луну, по многим непонятным причинам загрустил и ничего больше написать не мог.

Талант у него, конечно, был, и работал он на заводе, в гуще жизни, и условия ему государство создало, заботясь, а он все пребывал в нерешительности, говоря, когда мы гуляли вместе:

— Там, где другие видят просто дом, я не вижу просто дом, а без новой философии это неубедительно.

— Ишь чего захотел, — говорил старик-переплетчик.

— Потребность, а не ишь чего, — отвечал Карнаухов.

— У меня-то есть, — однажды вставил я робко.

— У тебя, может, и есть, — сказал Карнаухов, — но ты не писатель, поэтому толку нет, что у тебя есть, понимаешь ли, в чем тут тонкость.

— В парашютисты иди, — сказал летчик Тютчев. — А то ум на тебе заметен, как тельняшка, а там кувыркком вниз на три тысячи метров и больше, так что много будешь иметь себе пользы.

Писатель Карнаухов закричал, что это в самую точку, а я вообразил и содрогнулся.

Навстречу нам попался Циркачев, с толстым молодым человеком вместе во главе, а следом кочевала толпа поклонников его таланта, употребленных раз и навсегда, развлекая друг друга в ожидании своей надобности во имя искусства.

Секунду Циркачев подумал, потом решительно остановился.

— Познакомьтесь, — сказал он нам значительно. — Это мой друг и покровитель, специалист по делам православной церкви, ценитель искусства, проездом, а также любит Шопена... А это, — сказал он толстому молодому человеку, — наш писатель Карнаухов, слышали, может быть.

— Очень приятно, — сказал молодой человек, специалист по православной церкви. — Много читал, очень приятно.

— Что же вы читали? — спросил наш писатель Карнаухов.

— Не помню точно, — сказал молодой человек. — Очень приятно.

— Читал он, читал, — зашепел Циркачев, — все у вас читал, вы же слышали.

— Странно, — сказал Карнаухов. — Мой рассказ еще не напечатали.

Летчик Тютчев придвинулся к толстому молодому человеку и спросил приветливо:

— Из вежливости, парень?

У того достоинство лица покрылось красными пятнами, а Циркачев заявил замогильным голосом, уводя его прочь:

— Читал или нет, дело в деликатности, тем более, что мой друг и покровитель.

И ушел во главе с молодым человеком вместе, а толпа прошла следом, величественная, как Екатерина Вторая.

И уже издали до нас долетела фраза Циркачева, непонятная и обидная:

— Пошлость, — сказал он, — это проявление духа внутреннего во внешнем...

19.

Отец мальчика Гоши

Я сидел на берегу пруда в парке, а вокруг было воскресное гулянье из родителей, похожих на братьев и сестер своих

собственных детей, а также из публики, которая не идет ни в какой счет, потому что я их никого не знал и наблюдений по их поводу не имел.

Я сидел и думал, что какое теплое солнце и какой свежий воздух, надо же, чтобы такое существовало, а также о множестве ног, не идущих ни в какое сравнение с ногой моей женщины Нонны, появления которой я ждал, а также по привычке о судьбах мира. Думал я, кого-то смущаясь, то ли из-за судеб мира в свете свежего воздуха и ног, то ли из-за свежего воздуха и ног в свете наоборот.

Высокий мужчина, растоптанный и рваный, тащился по аллее, с бутылкой в повисшей руке, а за ним шел мальчик Гоша и нес его грязную кепку.

Мужчина был пьян насквозь и время от времени вставлял бутылку в рот, и в него булькало вино, а мальчик Гоша останавливался и ждал идти гулять дальше.

И был этот грязный похож на мальчика Гошу, так что мне все стало ясно, как днем, и я заметался по аллее, чтобы женщина Нонна пришла не сейчас, а погодя.

Мужчина отличался от публики, и все старались обойти стороной его, торчавшего, как большой палец, между мальчиком Гошей и бутылкой вина.

Все-таки пришла женщина Нонна и, обогнув меня, подошла к мужчине, а он посмотрел на нее, как на все, бесчувственным взглядом.

— Как тебе моя машина? — спросил он, а женщина Нонна спросила прямо и без дрожи губ:

— Зачем ты с Гошей?

— Гоша, пхе-хе, — сказал он ей и засмеялся, хмыкнув пару раз, словно царапая горло. — Машина, а?

— Хочешь я постираю тебе рубашку? — спросила женщина Нонна.

— Пропади ты вместе с рубашкой, — сказал мужчина.

— Пойдем, — сказал мальчик Гоша отцу.

Мужчина вставил бутылку в рот, забулькало вино, и тут он сел на корточки у края аллеи.

Мальчик Гоша старательно надел на него кепку, и отец никак не помог ему это сделать, и все старались обойти стороной, а

женщина Нонна пошла прочь — не ко мне, а вообще прочь — и вид у нее был незаконченный и недосказанный, а не как у взрослой женщины.

20.

Голубая роза солдата Тимохина

— Это было в окопе, — сказал вдруг солдат Тимохин не как речь, а как воспоминание, сидя на крутом берегу в воскресный день, окруженный нами. — Это было в окопе, когда сержант выливал из каски дождевую воду на босу ногу, а все мы, рядовые, курили по команде вольно. А потом началась дымовая завеса над нашими головами и артиллерийская подготовка, а также замполит выкрикивал лозунги в стороне не то слева, не то справа, идя в атаку вплоть до замолчания. А потом все кончилось, кроме дождика, и в окопе никого не было, кроме меня, в переносном смысле, потому что никого уже не было, вот в чем дело. И тут-то в глубине окопа через босу ногу сержанта и плечи рядовых я увидел куст шиповника, подброшенный к нам разрывом, а на кусте голубую розу.

— Бред, — сказал художник Циркачев, пожимая плечами. — Мистика живет в скажинах интеллекта, и не при чем тут дымовая завеса и замполит. Все голубые розы написаны в моих картинах.

— Химика взрыва, — сказал поклонник Циркачева, седой боец за мир Мартын Задека, влюбленный в турецкую культуру. — Химика взрыва могла превратить натуральное в голубое. Что-то такое я где-то читал.

Женщина Нонна грызла травинку, лежа на животе, и постукивала себя самое правой пяткой, не заботясь о сотрясениях.

— Это было в окопе, — сказал солдат Тимохин с надрывом, — и после войны в нашем дворе мне сказали и засвидетельствовали о превращении цвета моих глаз в качество голубых.

— Химика взрыва, — уверенно сказал испытанный боец за мир Мартын Задека, не сводя глаз с пятки.

Девочка Веточка, собиравшая крутом нас ромашки, присела на корточки перед бывшим солдатом Тимохиным и тоже засвидетельствовала:

— Оба голубые!

— Чепуха невероятная! — яростно сказал художник Циркачев, протыкая воздух жестиком. — Феномен природы, и все уже есть в моих картинах.

— Человек ее видел собственными глазами, — сказал вдруг летчик Тютчев, до того молчавший в наблюдении пятки. — Голубую розу на кусту шиповника.

И он в упор посмотрел на Циркачева.

— Нет отзвука одинокому, — говорил Циркачев вечером в мастерской девочке Веточке, когда она раздевалась для позирования, а толстая баба Фатма кипятила чай на электроплитке и ставила пластинки Моцарта. — Нет отзвука художнику, когда он щедрой рукой наделяет, но не берут, а выдумывают розу от собственного неполноценного имени. Преклони колени, друг мой Веточка, и стань в позу.

А мы этим вечером вернулись на наш двор и присели на скамейке у котельной — женщина Нонна, я, бывший солдат Тимохин и летчик Тютчев со своей мекоиканкой.

И посидели тихо и без слов на скамейке у котельной, а потом они разошлись парами, и моя женщина Нонна шла с Тимохиным, обняв его, а когда я взревновал и пошел следом, то женщина Нонна обернулась и сказала мне убедительным голосом, что я дурак.

21.

Как художник Циркачев употребил солдата Тимохина во второй раз

— Вы сделали солнце моей жизни, — сказал спустя Циркачев Тимохину на внешний вид вполне без юмора.

Они сидели за мраморным столиком в буфете без стен, с парком культуры и отдыха вокруг. Тимохин водку уже выпил, перейдя на пиво, а Циркачев спиртного в рот не брал. На тарелке с синими буквами лежал зеленый, как малахит, сыр и сушки натюрмортом.

— Она — Индия в верхней части своего существа, а дальше пути-дороги длинных ног, имея в виду стройность Эль-Греко и упругость физической культуры. Благодаря вам, друг мой! — оказал Циркачев.

Солдат Тимохин выпил пива, поставил кружку, потом вставил

папиросу в рот и зажег спичку единственной рукой, обдумывая свое значение в искусстве и твердость в мужской дружбе.

— Я ваш должник, — пропел художник Циркачев, — а все остальное чепуха!

Но бывший солдат Тимохин сказал, что имеется в избытке, исключая еще кружку пива, хотя, может быть, вдвоем, что ж он один, потому что жарко.

— Не пью, — сказал Циркачев, делая ладонью чур меня. — Но мне приятно, чтобы вы. Индия сверху и ополна, благодаря вам!

Тимохин расстрогался, заморгал, и сказал речь, что хотя и среди незнакомого, например, упругость Эль-Греко, но можно положиться, пусть даже и одна рука.

— Маленькая просьба, — придвинулся Циркачев с доверием, — старое умирает, а наша знакомая не ест, вместо того, чтобы отойти на задний план, а вы человек холостой, так что благодаря вам и если вы не прочь...

Весь этот день в мастерской, и весь этот вечер за готическими окнами, синими изнутри, гремел Моцарт, возносясь к небу, а женщина Нонна два раза стучала к солдату Тимохину, а мальчик Гоша удрал поиграть вместо идти спать, и женщина Нонна в сердцах нашла его на краю крыши, спускавшего оттуда предметы наперерез Моцарту, а потом женщина Нонна плохо спала со мной рядом, ничего не сказав лишнего по своему обыкновению, чуткая и нервная, даже сравнить ее не с чем.

А я лежал и думал тихо, почему они все так переглядываются, что я их не понимаю до конца, а только сердцем, и зачем в этой истории я, зачем мне все эти соседи слева и справа, сверху и снизу, если я только сердцем.

За готическими окнами, черными снаружи, почти до утра, закончив, начинал сначала, закончив, начинал сначала, сначала и сначала бессменный Моцарт, и, говорят, художник Циркачев так и не выпил ни капли до утра.

22.

Письмо художника Циркачева женщине Нонне

Ты для меня, писал Циркачев, и земля, и сестра, потому что в твоих глазах я, если бы ты это поняла; ты и небо, и мать, а также все вездесущее!

Случайные люди окружили меня в одиночестве на пути к гармонии с самим собой.

Пишу тебе, как не мог бы даже себе: я чист и светел, пока дух мой на холсте, и наоборот, как жизнь, в каждом шаге своем, потому что ты не со мной, а с ними, сестра моя, вместо того, чтобы омыть и направить.

Дай отдохнуть мне у глаз твоих, мне, гению, но бессильному без тебя.

Так и много другого писал Циркачев в письме, и это не лезло ни в какие ворота нашего двора, и женщина Нонна читала, сидя в машине и решая свои поступки. Она читала, но не улыбалась, хотя это совершенно не лезло.

И красные бусы были вместе с письмом, и все это принес, смущаясь, бывший солдат Тимохин.

23.

Как однорукий солдат Тимохин лез на крышу

На дворе стемнело, только стучали доминошники, приближая костяшки к глазам, чтобы вникнуть в их смысл. Пробежал кот, за котом мальчик Гоша, за мальчиком Гошей женщина Нонна. Горбун, несмешно улыбаясь, пер через клумбу, направляясь в свою коммунальную квартиру на покой. Небо пахло травой и поблескивало первыми звездами.

Девочка Веточка вошла во двор, а следом за ней шел бывший солдат однорукий Тимохин, хватаясь за стенку дома, как за сердце, единственной рукой.

— Съешь, — говорил солдат Тимохин однообразно и просительно. — Съешь, прошу тебя.

Но девочка Веточка шла, не оборачиваясь, и глаза у нее были опалелые и смотрели в разные стороны, так что непонятно было, как это она идет и даже не спотыкается.

Но тут бывший солдат Тимохин обогнал ее, подбежал к пожарной лестнице, натянутой вдоль стены отвесным трапом, взобрался на нее и с помощью своей единственной руки стал подниматься вверх, и каждую ступеньку он брал с бою и на каждой ступеньке он отваливался на сорок пять градусов назад, а потом хватался рукой и лез вверх еще на одну ступеньку и отваливался на шестьдесят пять градусов непостижимым образом, и в домах вокруг началось пожарное состояние, потому

что из окон и дверей повалили люди с криками, и доминошники оорвались и понеслись, только старик-переплетчик остался сидеть, где сидел, вникая в костяшку. И горбун задержался на клумбе, глядя на все это и несмешно улыбаясь.

Девочка Веточка посмотрела на Тимохина, на все его градуны, на его гибкий позвоночник и цепкую руку, и ничего не сказала, и ушла в дом, не улыбнувшись и не заплакав.

И когда летчик Тютчев и с ним пятеро доминошников сняли Тимохина и он оказался стоять перед взбудораженным населением, то сказал, объясняя свой дикий мотив:

— Понимаешь, три дня ничего не ест.

И оранжевый месяц выплыл в небо над крышей, спугивая звезды.

— Три дня ничего не ест, как будто в этом дело, если правильно понять.

И он ушел домой, хватаясь за стенку дома, как за сердце, единственной рукой, а людей был полный двор, и никто ничего не сказал.

24.

Бусы козыри

Я поднялся к соседям сверху и там четыре часа подряд играл взволнованно в шамайку, а серый дом качался от тревоги и трубил как слон, в беспокойстве.

А летчик Тютчев шел к моей женщине Нонне, чтобы узнать у нее все, как есть.

А женщина Нонна дала мальчику Гоше те самые бусы и послала его играть во двор.

И мальчик Гоша разорвал своими могучими руками бусы еще на лестнице, а на дворе стал играть в совершенно другие игры.

И летчик Тютчев, идя к женщине Нонне, чтобы узнать у нее все, как есть, наступал на те самые красные бусины, крупные, как сливы, и сердце его каменело.

Я сидел у соседа сверху, играл в шамайку и, волнуясь, вел с Карнауховым философские разговоры.

— Как же вас понять, — говорил Карнаухов обиженно. —

Выходит, куда ни кинь, всюду клин.

— Хорь и Калиныч, — говорил я.

— Козыри пики, — говорил писатель Карнаухов. — Выходит, если вас понять, что мы с вами вроде еще не родившейся звезды.

— За звезду! — сказал сосед снизу.

— Да, — говорил я. — Так и выходит.

— Вроде разгорающейся звезды? — приставал Карнаухов.

— За звезду! — сказал сосед сверху.

И мы выпили за разгорающуюся звезду, хотя писатель Карнаухов и возражал.

— Ну, а если я не пожелаю? — говорил он. — Если я пожелаю быть писателем Карнауховым и точка?

— Не выйдет, — говорил я. — По мысли звезда и точка.

— За звезду! — предложил сосед напротив.

И летчик Тютчев вошел в квартиру к женщине Нонне, и глаза их встретились.

Дом качался от волнения и трубил, как слон, в тревоге, потому что летчик Тютчев был из тех, что делают по утрам гимнастику в скафандре, а женщина Нонна имела фигуру, обтянутую штанами и свитером, и привыкла самолично решать свои поступки.

— Нос, ну и пусть нос, — думал я наверху, волнуясь через край, — все равно что-нибудь да получится, так не бывает, чтобы ничего не было.

А летчик Тютчев и женщина Нонна смотрели друг другу в глаза, и комната наполнилась пламенем.

Но летчик Тютчев устоял и сказал голосом моего друга:

— С кем же ты есть, Нонна, если можешь мне объяснить?

— Знаешь, я до визга люблю машины, — сказала женщина Нонна и тронула рукав его кожанки.

Но летчик Тютчев устоял и сказал:

— Если можешь все-таки мне объяснить.

И женщина Нонна, нервная последнее время, как Махно, натянулась струной, засунула руку глубоко за свитер и отдала теплое письмо.

Это было письмо Циркачева, которое женщина Нонна отдала, решив, что она есть с нами, и это со всех точек зрения трудно переоценить.

Нельзя сказать по справедливости, что летчик Тютчев и сам не выходил иногда с задней площадки, но нарушал он правила законно, а этот, по его чувству, не нарушал правила законно и лез на летчика Тютчева нагло, вообще ни на кого не глядя. И летчик Тютчев взял его за все пуговицы сразу и поставил обратно в автобус, чтобы все ему объяснить, но автобус дернулся и летчик Тютчев полетел на заднее сиденье, и Циркачев полетел на него, и кондуктор стал нажимать кнопку, автобус стал останавливаться, засвистел милиционер, закричали люди, а толстая баба Фатма ползала по автобусу, собирая пуговицы, и летчик Тютчев предстал перед миловидной женщиной-судьей, имея протокол и путаницу в голове, потому что художник Циркачев с достоинством наговорил в протокол все, как было, а летчик Тютчев умолчал про заднюю площадку из мужской сдержанности.

Он стоял перед миловидной судьей, и душа его пламенела от обиды, и душа его пламенела потом еще три дня на погрузке угля, так что когда он появился на дворе, то все затихло, потому что он нес в себе решимость как переполненный автобус людей.

— Я распутаяю все это на чистую воду, — сказал он нам. И его нос, острый, как у Гоголя, и его рот, четкий, как молодой месяц, и его взгляд, твердый, как у снайпера, и все его существо, непоколебимое в кожаной куртке, было вкривь и вкось самим собой. — Я не какой-нибудь выдающийся летчик философии, но в своем собственном дворе хватит с меня путаницы, глядя собственными глазами.

— Потому что, — сказал бывший солдат Тимохин, — есть потребность в выпрямлении, Федор Иванович, хотя словами не сказать и не посмотреть себе в глаза, поскольку совестно.

А женщина Нонна сказала:

— Ты помолчал бы лучше, бесстыжая твоя рожа!

Друг и тень летчика Тютчева, молчаливый пилот, встал, высокий и костлявый, и задумался, глядя большими от природы глазами на собеседников.

А писатель Карнауков сказал:

— Если имея в виду шероховатость, то может дойти до трагедии, как говорит опыт классиков, начиная с Анны Карениной.

Но летчик Тютчев в решимости знал, что ему делать и без посторонних слов, когда вернется с аэродрома.

Первым пришел к Циркачеву Тимохин.

— Присаживайтесь, — сказал Циркачев и сделал Фатме глазами в небо, как святой на иконе.

Солдат Тимохин присел.

Циркачев подумал и выставил из-за шкафа набор своих картин номер три: мост в виде обнявшейся пары, звездочет на крыше, раскинувший руки, как пугало или антенна; голая баба Фатма с подбородком на коленке.

Солдат Тимохин картины посмотрел вежливо, а бабу Фатму с интересом, однако молча.

— Ну, что об этом скажет друг мой? — спросил Циркачев.

— Я скажу так, — сказал Тимохин, — что лучше тебе отсюда съезжать добром, пока до беды не дошло.

Этот их разговор происходил тогда, когда летчик Тютчев отбыл по делам своим.

— Никуда не поеду, — отрезал Циркачев, убирая картины. — Вам будет пусто без меня и уныло.

Солдат Тимохин вышел, аккуратно прикрыв дверь в мастерскую, и сразу же вошел наш писатель Карнауков.

— Присаживайтесь, — сказал Циркачев.

Карнауков присел.

Циркачев подумал и выставил из-за шкафа набор своих картин номер пять: вариация на тему желтого круга и лиловой палочки; голая баба Фатма в черном чулке, глядящая себе под коленку; сон марсианина — в середине светлое, по краям погуще.

Писатель Карнауков все это посмотрел со знанием дела и, упомянув, между прочим, пару нужных слов, сказал:

— Арабы были кочевники, а верблюд — корабль пустыни, однако, в пустыне, как и в море, нет пресной воды, и в этом, я считаю, вся соль, так что лучше вам отсюда откочевать.

Художник Циркачев стал очень серьезным, уже не поднимая глаз, как святой, а наоборот сказал:

— Но я не поеду, пробуждая добрые чувства и понимание

цвета, без чего немислимо и скучно.

Писатель Карнаухов ушел.

И вошла в мастерскую женщина Нонна.

При виде ее художник Циркачев дал пинка и выставил бабу Фатиму, потом остановился в метре от женщины Нонны и стал настраивать взгляд на ее глаза.

Целую минуту они молчали, а потом женщина Нонна плюнула и вышла, а художник Циркачев стал со злобой укладывать вещи.

26.

Я миротворец

Под ногой была шаткая земля обрывом в речку, на которой лилии плыли разрывами. И сосны сучками торчали в чужих глазах и бревнами в моих, прозрачными коконами стволов, из которых повылезли в небо зеленые вершины. И тонкая ольха на берегу, согнувшись в три погибели, удрила себя самое в тихой воде. И сердце мое волновалось и скакало не потому, чтобы где-то рядом Нонна — не было ее где-то рядом; не потому, чтобы я разведчик в тылу у врага, как солдат Тимохин рассказывал. А потому прыгало сердце на каждом шагу, как кузнецик из-под ног, что приехал я в качестве миротворца за город к Циркачеву, сознавая свою историческую ответственность, и шел по этому пейзажу, и пейзаж перепутался с ожиданием и кувырчался у меня перед глазами, как желтозеленый клоун под синим куполом.

Циркачев лежал больной с книгой в руках, как умирающий Некрасов на картине. Вокруг него стояли в полной готовности толстая баба Фатима, летучая мышь, дачницы мне незнакомые и разные люди.

— Вот он! — закричал Циркачев, и все оглядели меня с головы до ног. — Что ж это, что ж это вы даже не постриглись, направляясь ко мне, а тут дамы и неудобно.

— Я миротворец, — сказал я.

— Какой лохматый, смотрите, — сказала Фатима.

— Хорошо, знакомьтесь, — сказал Циркачев требовательно. — Это мой друг, Александр Хвост, выдающийся поэт. Это соседние нимфы, Фаина и Светлана, жертвуют собой, воспитывая потомство своих мужей. Это князь Оболенский, недавно из Харбина, знал

Шалыпина, пишет мемуары, сам иногда поет. Мартына Задеку вы знаете — пропагандирует турецкую культуру и ценит мое творчество.

Овладев положением, Циркачев вдруг сказал:

— Что же это вы так подкачали, словно вы, который выше предрассудков, это вовсе и не вы, мой милый?

Я поймал выскочивший от волнения глаз, вставил его на место и сказал:

— Не понимаю вас.

— Будто? — закричал Циркачев. — Вы слышите, он не понимает! — И все посмотрели на меня с любопытством, а многие с неодобрением.

— Там, вся эта толпа, праведники, труженики! — закричал Циркачев и вдруг тихо-тихо спросил:

— А откуда у вашей Нонны машина?

— Я понимаю, — сказал я. — Мне пора.

— Нет, — сказал Циркачев. — Пора, может быть, и пора, но машина у нее от бывшего мужа, который спился на пути к искусству, не имея сейчас ничего. А еще труженики, праведники!

Но я уже шел по дороге к станции, удивляясь лягушатам, которые прыгали из-под ног.

"Гугеноты! — думал я. — Именем короля! Дуэлянты! Что ж, дуэлянты такие же люди, как все..."

27.

Летчик Тютчев в делах своих

Громадный аэродром был пуст от всего, кроме ураганного ветра, самолета и кучки людей у края поля.

От кучки отделился летчик Тютчев и пошел к самолету — один, без всяких провожатых.

Это был самолет, для глаз сегодня еще совсем непривычный, из тех, что летают не в этом небе, а в том, которое видно станет, если взобраться на это небо — в том, которое оранжевое и ультрафиолетовое, которое черное и все напролет безоблачное.

То большое небо, для которого это наше небо паркетом, как бы даже корнем, а, может, и просто пуховой подушкой.

И в то небо отправлялся летчик Тютчев, идя по пустому аэродрому к самолету, похожему не то на иглу с кашеевой смертью, не то на хищную рыбу из недосыгаемых морей.

Кучка стояла и смотрела, блистая орденами, погонами и складками, очками, околышами и биноклями в наблюдении настоящего.

И когда было пике из того большого неба в это и дальше с этого неба к земле, то получилось то, что не должно было получиться, и вся сумасшедшая сила летчика Тютчева шла прахом, разрывая ему внутренности, и точка на земле, куда свистела игла с кашеевой смертью, была на пустом аэродроме, где блестели ордена, погонны и складки.

— Шесть ноль шесть, — сказали самые большие погонны, и им ответили:

— Два ноль два.

И продолжали наблюдения, потому что до понимания было еще секунды, наверное, три.

Вся сумасшедшая сила летчика Тютчева, включая всех нас и его мексиканку, шла прахом, разрывая ему внутренности и в кровь из-под ногтей.

Секунды, наверное, три прошли, и очки, околыши и бинокли заволновались, но самые большие погонны смотрели по случаю вниз, говоря:

— Шесть ноль шесть.

И послушный голос ответил, смотря вверх:

— Два ноль два.

Когда своей силой и еще не своей силой, не щадя живота, летчик Тютчев добился своего и шел потом прочь от поля, отогнав врачей, потому что спешил, он даже не смог оглянуться.

28.

Как летчик Тютчев разнял дерущихся и поведал им о самой что ни на есть сути

В этот день, после пике, шофер сказал:

— Может, вы дальше самостоятельно, Федор Иванович, боюсь, горячее, не дотяну.

— Давай, — сказал летчик Тютчев и пошел пешком, трудно

ставляя стопу на землю.

В нашем дворе иногда — очень редко, но все же иногда, — случаются драки, в которых никакого нет смысла, а одни только взаимные обиды, если во-время не помешать. Причем дерутся только пьяные, не до бесчувствия пьяные, а только так, до воспаления, как бы сказать, мира.

Подходя, летчик Тютчев увидел сцену, так что пошел быстрее, хотя идти было трудно, даже если ставить ногу на землю осторожно. Однако он шел себе и шел, как полагается мужчине в расцвете сил и сдержанности, а потом побежал со всех ног, забыв про свои трудности и осторожности.

В этот день еврей Факторович и солдат Тимохин первые три часа пребывали в мире и дружбе, хотя солдат Тимохин сильно обогнал Факторовича в смысле развития событий, то есть, говоря просто и наобум, в смысле гораздо больше выпил, так как еврей Факторович вообще водку не любил и пил только из вежливости и чтобы не отстать. Зато действовало на него выпитое чрезвычайно убедительно, — он сразу постигал самую суть всего, о чем бы ни заговорили, и давал объяснения налево и направо, не гнушаясь правды.

— Понимаешь, — сказал солдат Тимохин в начале четвертого часа мира и дружбы, — понимаешь ли ты, что такое любовь, но различие в возрасте?

— Конечно, — сказал Факторович, который работал в магазине, продавая верхнюю одежду, и всего повидал на своем веку. — Я скажу тебе самое главное, ты следи за моей мыслью. Во-первых, насильно мил не будешь, а, во-вторых, ты ей не пара, так как у тебя все позади, а у нее все впереди.

— Как так? — спросил солдат Тимохин. — Как так позади?

— Ты только следи за моей мыслью, — сказал Факторович. — Ты отстрелянный патрон, пустая гильза, а она с устремлениями.

— Как это отстрелянный? — рванулся Тимохин.

— Все твоё поколение отстрелянное, только следи, я прощу тебя, за моей мыслью. Стоит в стороне от главной магистрали в ходе непрерывного перекура, — не гнушался Факторович правды и ее последствий. А эта девочка, можно сказать, надежда всей России. Теперь я кончил, можешь отвечать мне.

Бывший солдат Тимохин набряк от обидой и слезами, но до поры только дико смотрел на Факторовича немигающими гла-

зами.

— Молчишь, — сказал Факторович, — тогда я тебе скажу. Наш Карнаухов недавно что сказал? Если, говорит, не выйдет из меня мирового признания, то уеду я учителем в Забайкалье, в глушь и дебри, и только эту девочку хотел бы я, чтобы там поселились и женой моей согласилась, работая, скажем, медсестрой. И вот глушь, дебри, и мы с ней.

— А я? — закричал Тимохин дико, как антисемит.

— Отстрелянное поколение, — сказал Факторович.

— А ты сволочь, — сказал Тимохин вдруг и с убеждением. — Сволочь ты, если так.

Что такое драка? Тот же спор, только посредством силы врукопашную. Поэтому, когда Факторович схватил Тимохина за гимнастерку, а Тимохин Факторовича за белую рубашку с украинской вышивкой, то вполне можно сказать, что драка началась.

Тут к ним подбежал летчик Тютчев, который оказал им во весь голос самую суть, разнимая:

— А ну, хватит!

29.

Болезнь летчика Тютчева

Летчик Тютчев заболел с опасностью для жизни.

Мы стояли и сидели по всей комнате, на всех стульях, подоконниках, даже на кровати, и никто не плакал, сдерживаясь, кроме девочки Веточки, потому что она ослабела душой и телом после любви и аборта, после всех этих переживаний с Циркачевым и Тимохиным.

И соседи сверху, и соседи снизу, и соседи справа, слева и с напротив слушали, как подсолнечник солнце, летчика Тютчева, а женщина Нонна сидела, обняв мексиканку за узкие плечи, а мальчик Гоша стоял у ее, нонниных выдавших виды колен, и палец не был у него во рту, и руки не были у него в карманах, а болтались, позабытые, черт знает как.

— Все мы одна семья, — говорил летчик Тютчев. — Мы ходим хороводом вокруг перспектив, мы любим женщин друг у друга, и даже много более того, но у нас не вышло ничего такого, чтобы я, летчик Тютчев, забыл сказать: все мы одна семья, и

первые пилоты, и парашютисты.

И кто-то спросил, не с заусеницей спросил, а чтобы набраться разума:

— А кого вы так именуете, Федор Иванович, в качестве первых и так далее парашютистов?

И летчик Тютчев сказал, боля:

— Первый пилот навел на азимут, а парашютисты посыпались, как зерно из мешка, кто добром, а кто и коленкой, жалея, у кого не раскрылось. А пилот плетет на парашют, имея вместо него парашютом небо, так что бери руль на себя, чтобы в носшибанула высота, где Млечный путь семафорит а ля фуршет.

Тут женщина Нонна сказала, что пусть бы все шли и дали человеку поправиться, и все тихо пошли прочь, а навстречу вступали врачи во главе с самим секретарем райкома.

30.

Конец

Мальчик Гоша задрал голову и посмотрел в небо.

И его друг Витя тоже задрал голову и тоже посмотрел в небо.

Тогда мы все задрали головы и посмотрели вверх, а потомственный рабочий Вахрамеев сказал, протирая очки:

— Я так считаю, что все дело в трудовом подвиге.

А секретарь райкома подумал и подтвердил неторопливо:

— Вот это можно.

И задумался.

"НЕ ГОРОД РИМ

ЖИВЁТ СРЕДИ ВЕКОВ"...

...роду человеческому принадлежат две книги, две летописи, два заветания - зодчество и книгопечатание, библия каменная и библия бумажная. Бесспорно, когда сравниваешь эти две библии, так широко раскрытые в веках, то невольно сожалеешь о неоспоримом величии гранитного письма, об этом исполинском алфавите, принявшем форму колоннад, пилонов и обелисков, об этом подобии гор, сложенных руками человека, покрывающих все лицо земли и охраняющих прошлое, - от пирамиды до колокольни... Надо неустанно перелистывать эту книгу, созданную зодчеством, и восхищаться ею, но не должно умалять величие здания, воздвигаемого в свою очередь книгопечатанием. /.../

Печать /.../ - обетованное убежище для мысли на случай нового всемирного потопа, нового нашествия варваров. Это вторая Вавилонская башня рода человеческого.

/Виктор Гюго. Собор Парижской богородицы/

Александр Бенуа. Мои воспоминания

Осип Мандельштам. Шум времени

...И еще раз, вспоминая наши тогдашние блуждания, я не могу не остановиться с умилением на всем том, что эти кварталы Коломны содержали в себе замечательного — начиная с чудесного собора Николы Морского, золотые маковки которого в белой ночи так торжественно блистали на фоне лилового востока, а высокая стройная колокольня тонула в опрокинутом виде в тихо колеблющихся водах. Я подолгу мог любоваться, как это отражение колеблется, плавно извивается или дробится и распадается... А как живописны были наши оба рынка: Литовский и Никольский с их бесчисленными аркадами, сводчатыми переходами и высокими красными крышами. Два из девяти мостов в нашем квартале, перекинутые через каналы — Крюковский, Екатерининский и Фонтанку, — все еще были украшены гранитными обелисками. Весной вся наша довольно пустынная и чуть провинциальная Коломна насыщалась дивно-горьковатым запахом только что распустившихся берез Никольского сада, а летом сладким дурманящим ароматом цветущей липы. /А.Б./

В Петербурге есть еврейский квартал: он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут барышники, за тюремным ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка. Там, на Торговых, попадаются еврейские вывески с быком и коровой, женщины с выбивающимися из-под косынки накладными волосами и семенящие в сапогах до земли многоопытные чадолюбивые старики. /О.М./

...И ЛЕТИТ
 БЕСПОКОЙНО
 НАД ВОДОЙ
 КОЛОКОЛЬНЯ.

 ЧАСОВОЙ
 ОДНОРУКИЙ,
 КОЛОКОЛЬНЯ
 НАД КРЫЖОВЫМ...

Каждая из диковин нашего околотка значила для меня очень много, но над всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская церковь. /.../ Очень уважал этот шедевр и мой папа, от которого я узнал замысловатое, но хорошо усвоенное имя строителя Никольского собора - Саввы Чевакинского. /.../ ...я мог относиться к Николе Морскому, как к нашей церкви, - и это тем более, что папа носил то же имя, как и великий святитель, именем которого назван собор, и что храмовый праздник Николы, 6 декабря, совпадал с празднованием папиных именин. Самый адрес нашего обиталища тогда, когда еще действовал старомодный обычай давать адреса в несколько описательной форме, - звучал так: "Дом Бенуа, что у Николы Морского". /А.Б./







Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений. Бархатные береты с помпонами, изнуренные служки и певчие, гроздь семисвечников, высокие бархатные камилавки. Еврейский корабль с звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать прячась за стропилами. /О.М./

. . .

Эта ночь непоправима,
А у нас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее,
Баю, баюшки, баю,
В светлом храме иудей
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудей
Отпевали прах жены:

И над матерью звенели
Голоса израильтян,
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

О.М., 1916 г.

В отце при этом не было и тени какого-либо ханжества или однобокого фанатизма. Веря безоговорочно во все то, чему учит католическая церковь, он в то же время крестился на все православные храмы, а когда ему случалось присутствовать при каком-либо богослужении в них, то он и подтягивал вполголоса певчим, так как с академических времен знал все русские обрядовые слова и напевы. С великим почтением он относился также к лютеранским и реформатским священнослужителям, а также к представителям еврейства. /А.Б./

Речь отца и матери - не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны - это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку приbedненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков? /О.М./

